

Игорь Колеев

...И МЕДНЫЕ ТРУБЫ

Игорь Колеев

...И МЕДНЫЕ ТРУБЫ

Повести



АЛМА-АТА «ЖАЛЫН» 1990

ББК 84Р7-44
К 60

Рецензент Ю. Рожицын

Колеев Игорь Андреевич
К 60 ...И медные трубы: Повести: Для ст. шк. возраста.— Алма-Ата: Жалын, 1990.—216 с.

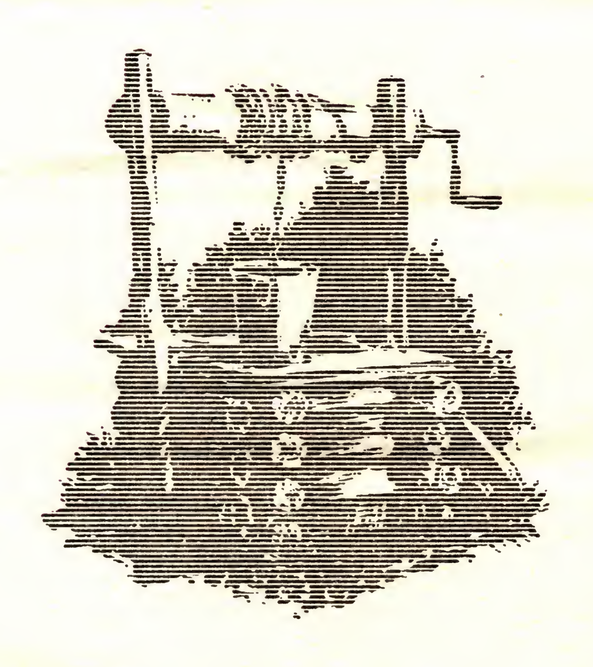
ISBN 5-610-00665-1

Война многолика. Автор книги, сам участник Великой Отечественной войны, в избранном им жанре художественной прозы, приближенной к документальной, приоткрывает войну с еще малоисследованной, отнюдь, на первый взгляд, не героической стороны... Но это тоже была война. И люди проходили в ней свое жестокое испытание... на право называться человеком, на право сохранить человеческое достоинство, бороться и умирать.

К $\frac{4803010201—89}{408(05)90}$ 181—90 **ББК 84 Р7-44**

ISBN 5-610-00665-1

Амнистия



ПОБЕГ

Колонна заключенных, возвращаясь в зону, вступила в длинную деревенскую улицу. Справа от деревни за огородами тянулась гряда холмов в кудрявых кустарниках. Слева — смешанный лесок, теперь в предосенней желтизне берез и осинок.

Когда середина колонны поравнялась с домом в нарядных резных наличниках над окнами, высоким забором и открытой калиткой, один из заключенных — молодой, высокий, по кличке Генерал — мгновенно метнулся в калитку и захлопнул ее за собой.

— Стой! Стрелять буду!— запоздало, испуганным голосом крикнул один из конвоиров.

Колонна на минуту смешалась, разноголосо загалдела, но вскоре двинулась дальше, а трое конвоиров вслед за беглецом устремились в ограду дома.

Между тем Генерал, не теряя ни секунды, бесшумным рывком открыл крышку сруба колодца, юркнул туда, быстро и осторожно закрыл ее. Он уперся спиной и ногами в скользкие бревна сруба, рискуя сорваться вниз, и затаился.

Конвоиры между тем обежали ограду, дом, заглянули в надворные постройки, обшарили грядки небольшого картофельного огорода с темнеющей ботвой, но беглеца не нашли, а третий из них зашел в дом, осмотрел сени и открыл дверь в комнату. Навстречу ему поспешно вышла девочка, видать, первоклассница, только что вернувшаяся из школы и развязывающая на ходу пионерский галстук. Она испуганно и вопросительно уставилась на военного с винтовкой за плечом и, не дожидаясь его вопроса, торопливо сказала:

— Дяденька, у нас маманя и деда на работе, я одна дома. Тебе, может, напиться?— и потянулась к деревянной бадейке на лавке.

— Нет, девочка, не надо,— поспешно остановил ее конвоир.— Слушай, к тебе в дом, а может, в ограду вот прямо сейчас или совсем недавно никто не приходил? Дяденька такой молодой, высокий?

Девочка отрицательно энергично мотнула головой:

— Никого здесь не было, я никого не видела.

— А может, он в доме, а?

И снова отрицательный жест головой, от которого метнулись косички с бантиками.

— Да говорю же, что одна я дома, никто ко мне не заходил. Разве бы я не сказала. А кто он, тот, которого вам надо, дяденька боец?— наконец полюбопытствовала она.— Может, совсем не к нам, а к соседям тот молодой высокий зашел. Я спрошу у них, я быстро сбегаю,— с чистосердечной детской наивностью бойко заговорила она.

— Нет, девочка, не надо к соседям. А я на всякий случай все же осмотрю твой дом.— И конвоир обошел все три комнаты, заглянул под кровати, открыл крышку неглубокого подполья, из которого в нос пахнуло картошкой и квашеной капустой. Спустившись туда, он сдвинул с большой бочки гнет и открыл крышку. Тщательно осмотрел чуланы и чердаки.

Беглец будто в воду канул.

И когда он вышел из дома, двое других, уже закончив обход всего подворья, огорода и двух соседних участков, закурили около калитки.

— Что же, по-твоему, испарился?— спросил один из них стройного сержанта, похожего на девушку.

— Надо большой поиск организовать, пока он далеко не подался,— ответил тот.— Скоро должны наши приехать. А тебе,— добавил он строго, адресуясь к подошедшему в это время третьему,— не надо было ворон в небе считать. Это ты прохлопал, растяпа. Теперь из-за тебя всему конвою будет нахлобучка и работенка не дай бог...

Третий, самый молодой, веснушчатый, с белесой, влажной от пота челкой из-под фуражки, промолчал, видно, чувствуя свою вину и ответственность.

— Ты хоть заметил, кто убежал-то?— спросил его сержант.

— Да вроде тот — здоровый новичок по кличке Генерал. А может, и не он. До калитки-то ведь было всего одиннадцать шагов. Я уже измерил. Да и бежал он больно прытко, где тут разглядишь. Я даже затвор передернуть не успел.

— Ладно, ребята,— притушив папиросу, сказал сержант,— все равно ведь дурака поймаем. А ему теперь добавок как пить дать привесят. Пусть покукует. Но тебе, Черных,— строго глянул он в глаза молодому конвоиру,— взбучка путевая будет, а заодно и нам. «Лопухи,— скажет капитан,— из-под земли достаньте и доставьте в зону зека». Я уже один раз побывал в таком поиске, знаю, почем фунт лиха. Так что ты, Черных, оставайся на месте происшествия, да гляди в оба, а мы побежали догонять колонну.

— Ну кто мог подумать,— уныло заговорил Черных,— вы, например, ожидали, что такое случится, да не в лесу, не среди ночи, а в деревне, днем?— Сказав это, Черных тяжело вздохнул и, поправив винтовочный ремень на плече, прикрыл вслед за ушедшими калитку. Потом снова тщательно стал осматривать ограду, огород.

ДРАКА НА ТАНЦПЛОЩАДКЕ

Городок, где родился и вырос Сашка Невский, в конце мая — начале июня становился белым от тополиного пуха. В тихие безветренные дни, и почему-то особенно по вечерам, белые хлопья его медленно плыли, кружились и как бы нехотя опускались на землю, залетали в открытые окна домов, осторожно опадали на вертящиеся патефонные пластинки, в сумерках кружились у раструбов духового оркестра на эстраде, мельтешили у лампочек уличного освещения. Мирно, спокойно жил городок в своих радостях и заботах, в свадьбах и расставаньях, в привычных гудках по утрам и вечерам, басовито доносившихся с единственного в городке механического завода, выпускавшего самую мирную продукцию для сельского хозяйства: хомуты, седла, сбрую. Войну еще отделяли последние недели, хотя какой-то пока не совсем ясной тревогой уже пахло в воздухе.

В тот теплый, душистый вечер, когда уже умирала весна, Сашка, как всегда, без пятнадцати девять стоял около билетной кассы у входа в городской сад и ждал свою подругу—медсестру городской больницы бывшую соклассницу Федорову Феню, или «два фэ», как называли ее в шутку в школе.

После десятилетки Невский решил не поступать в физкультурный техникум, ждал призыва в армию и

временно устроился в райпотребсоюз экспедитором и одновременно грузчиком. Впрочем, должность экспедитора он присвоил себе сам. Он совершенно смутно разбирался в различных накладных, нарядах, заявках, в сложной бухгалтерской отчетности, и назвал себя экспедитором, чтобы щегольнуть перед Феней довольно солидной, по его мнению, малопонятной неискушенным, вроде Фени и матери, людям должностью. Но солгав доверчивой и немножко наивной Фене об этом, не знал он, что близкая Фенина подружка Ия Сергеева работала как раз в райпотребсоюзе счетоводом. И когда как-то между подругами зашел разговор о Невском — экспедиторе, Ия Сергеева прыснула:

— Кто? Сашка Невский — экспедитор? Да простой грузчик, а экспедитором у нас дядя Кузнецов лет двадцать уже работает. Так что соврал тебе Невский, трепло он несчастное.

— Ну и что,— обиженная и немного огорошенная этим сообщением, защитила Сашку Феня,— что, по-твоему, грузчик не человек? Как без него обойтись, кто будет товары нагружать, уж не ты ли? А Невский, знаешь, какой сильный?

О своем неприятном открытии Феня, щадя Сашкино самолюбие, не сказала ему: пусть себе тешится, хвастунишка.

И на этот раз, чтобы зачем-то польстить Фене, Сашка, заметив ее, выходящую из ближайшего переулка, посмотрел на свою гордость — кировские наручные часы с решеточкой, предохраняющей стекло, быстро подвел стрелки, и когда Феня, розовощекая, слегка пахнущая земляничным мылом, подошла с улыбкой, в которой была и нескрываемая радость от встречи, и изучающий, оценивающий взгляд на Сашкин лихой чубчик, на желтого цвета футболку с засученными по тогдашней моде рукавами, на начищенные до блеска штиблеты, сказал:

— Ну, Фенечка, здравствуй, золотце мое. По тебе, по твоей аккуратности можно сверять часы,— и показал ей циферблат, на котором было ровно девять.— А я где-то читал, что девушки всегда опаздывают на свидания. Это для того, чтобы кавалер немного помучился, попереживал в ожидании своей зазнобы. А ты, Фенюшка, ну просто прелесть...

Помахивая своей коричневой сумочкой — ридикюлем, Феня старалась шагать в ногу с высоким Сашкой, шаг у которого равнялся почти ее двум. И она, доходившая

Невскому едва до плеча, старалась делать свой шаг шире, а Невский не замечал этого и болтал о том, какой трудный был его рабочий день, как он сумел выписать габардин, шевиот и мадеполам, как уломал на областной базе жаднюгу кладовщика.

Но в этой безалаберной болтовне Феня улавливала что-то недоговариваемое. И она не ошиблась. У входа на танцплощадку Сашка почему-то откашлялся и сипло проговорил:

— Отойдем-ка, Феня, в аллейку, кое-что надо тебе сказать.

Когда они сели на свободную скамейку под тенью серебристого тополя и густого куста желтой акации, Сашка начал издалека.

— Тут, Феня, такое дело получается. Так что ты сначала послушай и не торопись давать ответ.

Такое необычное вступление насторожило, Феня почувствовала, как горячими толчками забилось сердце и сделались совсем пунцовыми ее щеки.

— Значит, так,— как бы подыскивая слова, начал он, но замолчал, собираясь с мыслями и составляя в уме следующую важную для него фразу:— Такие обстоятельства, пойми меня ты правильно, складываются на сегодняшний день, вернее, на будущее время. Словом, осенью я иду в Красную Армию. И к тебе теперь вопрос: будешь меня ждать, пока отслужу, или же нет?— с трудом, точно выполнив тяжелую работу, закончил Невский свое объяснение и даже вытер платком выступивший на лице пот.

Феня смешалась. Вот оно, первое, правда, такое нелепое объяснение, признание, которое она последнее время тревожно ждала.

Но как ответить? «Буду» — вроде неловко получится, еще подумает Сашка, что ляпнула не подумав, будто обнадежить парня старается. И она дипломатично ответила:

— Давай пока потанцуем, а после поговорим по-серьезному.

— Давай,— согласился Сашка, у которого будто гора свалилась с плеч. И они вошли в круг танцующих.

Когда отзвучали последние аккорды вальса «Над озером», Сашка с Феней направились к скамейкам, устроенным вдоль дощатого забора, загораживающего танцплощадку. Едва стали усаживаться, как откуда-то выскочил среднего роста паренек и мгновенно выхватил из Фениных рук ее коричневую сумочку-ридикюль и кинулся к вы-

ходу. От неожиданности наступило какое-то оцепенение, и вслед за тем Феня крикнула:

— Держите его!

Сашка сначала ничего не понял из происшедшего, затем, придя в себя, птицей метнулся вслед за парнем. И он наверняка успел бы его настигнуть. Но в это время стоявший рядом парень в очках сделал ему подножку, и когда Сашка со всего маху растянулся, парень прижал его коленом и стал выворачивать руки.

— Попался, гад, ворюга,— говорил он, посчитав Сашку за грабителя.

— Да пусти ты, стерва,— закричал Сашка. Он ловко вывернулся, вскочил на ноги. А парень снова повис на нем.

— Ребята,— крикнул очкастый,— чего смотрите, помогите же!

И в этот момент разгоряченный, переполненный яростью, Сашка как-то машинально выхватил из кармана портсигар и изо всей силы ударил им парня в скулу. Тот охнул и упал.

— Да не он, другой сумку вырвал,— лепетала Феня.— Отпустите его, он же за вором кинулся, а вы его...

Голос Фени был едва слышен, и на него среди поднявшегося шума никто не обращал внимания. Сашку и парня с окровавленным лицом окружала уже толпа, сквозь которую пробирался сержант милиции.

Все дальнейшее в Сашкиной жизни пошло кувырком, смешалось, превратилось в какой-то невероятный кошмар.

Сначала Невского привели в больничную палату для опознания его пострадавшим. Лицо того было забинтовано, от багрового синяка заплыл левый глаз. Парень, увидев Сашку, издал какой-то нечленораздельный звук, утвердительно закивал головой и, сморщившись от боли, повалился на подушку, отвернулся.

— Ты, парень, кончай выкручиваться,— постукивая ручкой о край чернильницы, говорил следователь, совсем молодой, энергичный лейтенант.— Ты знал, что Феодосия Захаровна Федорова в тот вечер пришла на танцы после получения зарплаты, которую она уложила в свою сумку. В сговоре с другим грабителем вы похитили сумку. Так?

Сашка промолчал, сжав кулаки и заиграв желваками: что дальше будет плести этот лейтенант?

— Слушай дальше. Пострадавшая дала об этом письменное показание.

Невский резко вскочил после этих слов: да неужто

Феня на такую подлость пошла? Ведь ничего ровным счетом о ее зарплате он не знал. Неужели она такой оказалась?

— Это чепуха,— наконец сказал Сашка.— Ни про какие деньги с Феней мы тогда не говорили.

— Тогда за что ты нанес телесное повреждение средней тяжести с переломом левой челюсти гражданину Симакову А. Н., который пытался тебя задержать на месте преступления? Ты давай, называй сообщника, кто он, где живет?

— Да никакого сообщника я не знаю. Я вора, парня того, побежал ловить, а «А Эн» мне подставил в этот момент подножку. Ну, я сгоряча и ударил его.

— Чем ударил? Кулаком?

Следователь выдвинул ящик письменного стола.

— Это чей портсигар?

— Мой,— узнав мельхиоровый, довольно массивный портсигар, купленный для солидности в день поступления на работу, уныло подтвердил Невский.— Но ведь, товарищ лейтенант...— начал Невский, но следователь его оборвал:

— Не товарищ лейтенант, а гражданин...

Смутившись от этого замечания, Сашка теперь сразу как-то погас, наверняка зная, что слова его не возымеют никакого влияния на дознание, которое проводил следователь из уголовного розыска.

— Я ведь хотел как лучше, не подумав, ударил.

Лейтенант перестал постукивать ручкой о край чернильницы и, встав, сказал:

— Раз бил человека не подумав, отправляйся в КПЗ и подумай, а надумаешь, все расскажешь. И помни, что против тебя собраны улики. Пора кончать волынку.

И Невского теперь уже третий раз увели из кабинета следователя.

Выступившая на суде пострадавшая Федорова Феня часто сморкалась в платочек, бросала тоскливые взгляды на стриженного под машинку, теперь почти незнакомого от этого, похудевшего, угрюмо-смущенного, но такого дорогого, милого человека, сказала:

— Он вовсе не виноват. Он же молодой, ему скоро призываться в армию,— и села, сложив между колен ладони. А в глазах появилась грустинка. И осталась она надолго.

Осудили Александра Николаевича Невского, 1923 года рождения, русского, холостого, ранее не судимого, к двум годам лишения свободы. Приговор вступил в силу 27 мая 1941 года.

АФИНОГЕН АПОЛОНОВИЧ

Из колодца Сашка выбрался, как только смолкли голоса и шаги в ограде. Он смертельно боялся, что если не конвоиры, то хозяева дома вот-вот поднимут крышку, чтобы набрать воды. На этот случай он готовился резким рывком выскочить и со всех ног бежать к огороду, потом в холмы, где его скроет густой кустарник. А уж дальше — на запад, на фронт. И как можно скорее. И самое главное для него заключалось в том, чтобы успеть оторваться от погони, которая наверняка уже началась, и с овчарками. Надо где-то затаиться, и когда все утихомирится, чего бы ни стоило, шагать и шагать сколько есть сил на запад, к фронту.

Уже начинало темнеть, зажглась над сопками первая голубоватая звезда. По деревне потянуло дымком, мычали коровы, лениво перебрехивались в разных концах собаки. Пригнувшись, Невский пробежал между картофельными грядками огород, легко перелез через плетень и поднялся в подлесок. Быстро сориентировавшись на лимонную полоску догоравшего заката, зашагал туда, строго на запад. Шел почти всю ночь, обходя деревни; прежде чем перейти мостики через речушки, внимательно прислушивался, приглядывался к разным силуэтам, смутно видневшимся в ночном сумраке. Когда рассвело, Невский кое-как добрел до сосновой опушки и обессиленно упал на рыжую хвою. Спал до полудня, а когда проснулся, почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. И хотя не видел того, кто на него глядел, ощутил смутную тревогу. Неужели все-таки напали на след конвоиры? Но тогда почему они притаились и чего-то ждут, не берут его?

Но вот зашевелились кусты орешника и к вскочившему Невскому подошел человек с аккуратной седой бородкой, в очках. Одет он был в темную телогрейку, на ногах добротные яловые сапоги, а за спиной виднелась двустволка.

— Проснулись, молодой человек? А я набрел на вас, смотрю: сон свалил богатыря, жалко стало будить,— проговорил человек с двустволкой низким, хорошо поставленным голосом. Он снял с плеча ружье, прислонил его к стволу сосны, под которой спал Сашка, и вопросительно уставился в его лицо:

— Ну, рассказывайте, как в наших палестинах очутились?

Сашка молчал, раздумывая об этом странном пришель-

це: кто он? По виду — человек интеллигентный — это сразу же определил по разговору, по тому, как назвал его на «вы», ввернул литературное словечко насчет «палестин», хотя Невский хорошо знал, что есть такое государство Палестина, и потом почему он так доверчиво-беспечно снял ружье и поставил его в каком-то метре от Невского. Доверяет? А может, просто проверяет: кто, мол, такой, что за птица, не бросится ли к двустволке этот грязный, измызганный бродяжка?

— Так что ж, молодой человек, не желаете поговорить, размышляете: что, мол, за дедок, чем он дышит, почему любопытствует? Отвечу, причем с явной охотой, на ваши вопросы, хотя вы и не соизволили их мне задать, но чувствую, что именно об этом сейчас думаете. Ведь так?

Сашка облегченно вздохнул. Нет, такой дедок совсем не опасен. Но что ему сказать? Если выложить всю правду-матку, то кто его знает, куда повернет дело, как он отреагирует, узнав, что Сашка бежал из тюрьмы и теперь пробирается на фронт. Поверит ли? А может, схватит ружье и поведет сдавать беглеца в милицию.

— Хорошо, удовлетворю ваше любопытство. Зовут меня Афиноген Аполонович, вот уже пятый десяток учительствую в местной школе. Человек я, как принято теперь говорить, старой закваски, закончил в свое время Московский университет и еще до революции осел в этом вот городке,— кивнул куда-то влево, где, очевидно, был городок.— Человек я самой мирной и гуманной профессии.

Афиноген Аполонович помолчал. Потом с какой-то ласковой стариковской улыбкой закончил:

— Вот и вся моя исповедь, молодой человек. Так сказать, вступление, предшествующее нашему совершенно неожиданному знакомству. Вижу, чувствую, что с вами что-то стряслось, а что именно, надеюсь узнать и, может быть, в чем-то оказать помощь. Ведь так оно?

И Невский решил рассказать всю правду о себе. В случае чего успеет убежать, опять затаится. Ведь теперь главное в том, что ищут его наверняка не здесь, по дороге к фронту. И он рассказал обо всем, случившемся с ним, начиная с драки на танцевальной площадке и кончая колодезным срубом, где так хитро затаился, пока его искали, хотя конвоиры были совсем рядом, и стоило им открыть крышку колодца, тут ему, Невскому, была бы крышка,— невольно скаламбурил он.

По мере рассказа лицо у Афиногена Аполоновича мрачнело, суровело, расправились морщинки около глаз, прида-

вавшие до этого ему добродушное выражение. И когда Невский закончил свой рассказ, старый учитель тяжело вздохнул, уставился своими удивительной синевы глазами на сосновые ветки. После раздумья он сказал:

— Поступок ваш, молодой человек, признаю отчаянным. И вместе с тем...— он помолчал, подбирая какое-то нужное убедительное слово, и закончил беспощадно резко, жестко,— дурацкий поступок, не обижайтесь — идиотский. Так необдуманно мог поступить только человек или с нарушенной психикой, или доведенный до последней грани отчаяния. На чем был построен ваш расчет? На фронт пробраться без гроша в кармане, в таком, извините, бродяжьем виде и, главное, без документов, согласитесь — абсурд, авантюра. Но допустим, удастся достигнуть места боевых действий нашей армии, ведущей страшные кровопролитные сражения, допустим, что такое могло бы каким-то чудом случиться. Но кто примет в ряды сражающихся наших героев беглого из тюрьмы? Я старый человек, много прожил, хорошо знаю психологию людей, отлично разбираюсь в ней. Но такое псевдогеройство — это что-то новое. А может, эта страшная война порождает у нашего народа совершенно новые, доселе не проявлявшиеся черты характера, поступки? Был у меня старший брат Федор Аполонович; убежденный революционер. Трижды бежал с каторги, причем два раза неудачно. Сбежал в третий раз, добрался до Нижнего Новгорода, Горький теперь,— и погиб самым глупейшим образом, хотя был очень умный, образованный человек. На какое-то время расслабился, нарушил святейшие правила конспирации. Вступил в политическую полемику с каким-то типом, вызвавшим его на это с явно провокационной целью. Не знаю, как у тебя сложится судьба дальше, но всячески желаю осуществить твое благородное, патриотическое намерение.

Каждое слово Афиногена Аполоновича было жестким, отрезвляющим, вызывало новую смутную тревогу, вскрывало нелепость его поступка и в то же время не вызывало колебаний в осуществлении намеченного. Теперь он со всей обнаженной, как-то раньше не продуманной до конца очевидностью вдруг ощутил всю неимоверную трудность, опасность всего таившегося на его дороге, в его, как оценил старый учитель, дурацком, идиотском поступке. Однако путь назад был уже навсегда закрыт, отрезан.

И опять ровно, спокойно заговорил Афиноген Аполо-

нович, как бы раздумывая и советуясь с этим явно попавшим в большую беду парнем.

— По последним сводкам по радио, ближайшее расстояние до фронта не меньше пятисот километров. Следовательно, идти туда, учитывая ваш, в некотором роде, конспиративный маршрут, предстоит неделю, а то и больше. Но вот что я думаю. В нескольких километрах отсюда проходит железная дорога. Идут по ней на фронт днем и ночью поезда. Если бы вы сумели как-то попасть на один такой маршрут, то дело значительно ускорилось бы. Как думаете на этот счет?

И Сашка с лихорадочной радостью, с каким-то внезапным озарением, с надеждой ухватился за этот вопрос, заданный ему. В нем не было никакого подвоха: как видно, этот умный и душевный человек искренне хотел хоть чем-то помочь Невскому.

— Ладно, спасибо вам,— только и смог сказать он в знак благодарности.

— А я, молодой человек, извиняюсь, не удостоен чести узнать вашего имени, как видно, вы изрядно проголодались?

Сашка смутился: как же так, старый учитель рассказал о себе, дал хороший совет, хотя и резко осудил его поступок, а он даже не назвал себя, а теперь Афиноген Аполонович, называя его на «вы», невольно обращается «молодой человек» вместо того, чтобы назвать Сашкой, Александром...

— Зовут меня Сашкой, фамилия Невский. А жрать, правду сказать, очень сильно хочу,— сказав это, Невский вздохнул и впервые выжидательно посмотрел прямо в глаза Афиногена Аполоновича.

Тот как-то весело улыбнулся.

— Выходит, товарищ Александр Невский, вы продолжатель славного рода великого князя российского? Что и говорить, удивительно редкое сочетание фамилии и имени, я вот давно землю топчу, а признаться, впервые слышу: Александр, да еще Невский,— и снова хорошо, широко улыбнувшись, ласково потрепал Сашку по плечу.— Насчет еды — я принесу, в дорогу немного дам и провожу до станции, вернее, до разъезда. А вы, Александр Невский, пока отдыхайте, копите силы перед дальней дорогой. Я быстренько обернусь.

И закинув за плечо двустволку и отойдя на несколько шагов, вдруг обернулся к Невскому:

— Плохое обо мне выкиньте из головы,— сказал и скрылся в зарослях.

Сашка поразился сказанному старым учителем: ну просто колдун какой-то! Как раз у него мелькнула такая мысль: а не приведет ли с собой этот интеллигентный добрый дедушка милицию? И, точно угадав эту тревожную Сашкину мысль, Афиноген Аполонович мягко и тактично предупредил его: не бойся, мол, парень, не подведу тебя, бедолагу...

Около полустанка присели в кустарниках снегозащитной полосы. Сашка жадно вцепился зубами в ломоть духмяного хлеба, поверх которого лежал ломтик сала. Утолив голод, он примерил лямки заплечного мешка, в который Афиноген Аполонович уложил буханку, шматок сала, луковицу и складной ножичек.

Разморенный сытной едой, Невский впал вдруг в благодушное настроение.

— Вот извините, Афаноган Аполоныч,— запутался он, произнося трудное для него имя.

Учитель улыбнулся:

— Имя у меня старомодное, с непривычки непросто произнести одним махом. В школе у меня много лет кличка, которая передается из года в год. Чертяки окрестили меня Автогеном. За глаза, конечно, так и называют. Называй и ты таким манером, Саша,— впервые назвал он Невского на «ты».

— Я хотел спросить, Афиноген Аполоныч,— теперь уже четко и твердо произнес он имя учителя,— как вы угадываете, о чем я думаю?

— Есть такая наука — психология. Вот с ее помощью и познается характер, настроение, наклонности человека. Но ты, Александр Невский, парень как чистое стеклышко, твою бесхитростность, если хочешь, честность я сразу увидел, понял, что в беду ты попал не по злому умыслу с твоей стороны, а, как я думаю, при роковом стечении обстоятельств. Их, эти стечения, человек не всегда может предвидеть, предугадать. Ты извини, Саша, что говорю я иногда высокопарно, по-книжному, литературно, но думаю, что ты меня хорошо понял. Теперь все зависит только от тебя самого, а нам пора прощаться, меня ждут неотложные дела. Желаю не посрамить имя великого нашего предка. Будь таким же, как он, в битвах с новыми тевтонскими пиратами.

Афиноген Аполонович, простившись, зашагал к лесной опушке, а Сашка предался раздумью о своем пока таком туманном завтра.

В ПОЛОСЕ ОТЧУЖДЕНИЯ

У железнодорожников существует термин — полоса отчуждения. Так называется местность, которая находится на определенном расстоянии от железнодорожного полотна. Сейчас она простиралась до снегозащитной полосы, в которой Невский расположился по совету Афиногена Аполоновича за кустарниками, чтобы выждать удобный момент и скрытно попасть на идущий к фронту поезд. Как это сделать, теперь зависело от его ловкости и быстроты, и Сашка строил один план за другим, остановившись в конце концов на том, что следует взобраться на крышу вагона и затаиться там с таким расчетом, чтобы его не увидели снизу.

Время тянулось медленно, а на путях вот уже добрых часа два не появлялось ни одного поезда ни на запад, ни с запада, где был фронт. И когда уже стало совсем темно, с запада, не останавливаясь, мимо разъезда прогремел первый смешанный поезд, состоявший вперемежку из пассажирских и грузовых вагонов и платформ. Минут через десять—пятнадцать в том же направлении без остановки тяжело прогромыхал еще один состав с платформами, груженными подбитыми в боях орудиями, автомашинами и танками. После этого опять наступила тишина, и только далеко за полночь, яростно звякнув буферами, остановился «товарняк», состоящий из пульманов. Мимо вагонов, от головы состава к хвосту, прошли осмотрщики, постукивая молотками и хлопая заслонками буксовых коробок. По тому, как делали они это — проворнее обычного, было нетрудно догадаться, что поезд торопили с отправкой, и для Невского, наконец, наступил решающий момент.

В ночных сумерках, подсвечиваемых поднявшейся луной, он осмотрел вагоны и увидел у одного из них военного, шагавшего куда-то к хвосту. На штыке его винтовки селедочным блеском отразился лунный свет. Переборов минутное оцепенение, Невский метнулся к ближнему вагону, который, к его счастью, был с тамбуром, проворно, по-кошачьи, в то же время стараясь не стукнуть ботинками, взобрался на крышу и ничком распластался на ней, положив рядом мешок с продуктами. Снизу, с путей, вскоре послышались довольно громкие голоса.

— Какого хрена опять тянут? — спросил хрипловатый баритон.— Дождемся, пока рассветет и фриц налетит...

— Да вроде кончают,— ответил другой голос.— Нам ведь до узловой теперь совсем близко.

Послышались удаляющиеся шаги, и вскоре между вагонами зашипел в шлангах воздух, потом от паровоза по всему составу загрохотали, зазвякали буфера, и поезд, наконец, тронулся.

АМНИСТИЯ

В десятом часу утра Феня Федорова сменилась с дежурства и направилась домой. По дороге купила головку рафинада, кусок хозяйственного мыла и, завернув все это отдельно в газетные свертки, зашагала к дому.

Дежурство было спокойным. Во второй палате лежали трое послеоперационных: ветеринар, привезенный из колхоза «Красный трудовик», которому вырезали аппендицит, монтер районного радиоузла с вывихом плеча, да восьмидесятилетний дед Федор Наволокин, настоявший на операции застарелой грыжи. Феня по дороге обдумывала свои домашние дела по хозяйству. Надо, наконец, распилить последнее бревно с братишкой Степкой, пока не затенастило, сварить обед, а к вечеру заняться стиркой. Еще надо было вымыть полы, сходить в аптеку за лекарством для простудившейся и сильно кашлявшей матери. Но из намеченного ничего не сделала.

Когда она уже взялась за ручку калитки, соседка тетя Стюра, которую кто-то прозвал Стюардессой, окликнула ее с крылечка соседнего дома, отгороженного невысоким штакетником от Фениной усадьбы:

— Феня, тебе повестка из прокуратуры. Еще вечером рассыльный приносил.

Сердце у Фени забилось в какой-то смутной тревоге. Может, с Сашкой-баламутом что-то опять приключилось, а может, нашли того вора-хулигана, что вырвал у нее на танцах сумочку-ридикюль с деньгами? Передав матери покупки, она, теряясь в догадках, заторопилась в прокуратуру.

У прокурора, уже довольно немолодого человека, в кабинете сидел военный с тремя кубиками в петлицах, лицом похожий на татарина.

— Гражданка Федорова?— спросил прокурор Феню, когда она робко перешагнула порог его кабинета.— Проходи, садись.

И когда она села напротив военного, прокурор достал папку, полистал бумаги и с минуту изучающе смотрел Фене в лицо.

— Тут вот какая неприятная история с твоим ухажером или знакомым произошла, товарищ Федорова,— начал он сухо, официально, отыскал какую-то бумагу в папке и, пробежав ее текст, спросил:

— Ты, Федорова, подавала кассацию в отношении Александра Николаевича Невского, осужденного к двум годам за драку?

У Фени от непонятного волнения вдруг пересохло в горле и в ответ на этот вопрос она только утвердительно кивнула головой.

— Так вот, кассационная жалоба рассмотрена в областном суде и утверждена. Невскому срок отбывания в местах заключения заменен условным наказанием. Пострадавший ездил и в область, и в Москву и просил изменить меру наказания осужденному.

Феня залилась радостным румянцем, у нее вдруг проклюнулся голос:

— Неужто правда? Я так и думала, что зазря так его, Сашку...

— Но Невский совершил новое, более тяжкое преступление,— сказал молчавший до этого военный,— так что рано тебе радоваться. Убежал он из колонии. И к тебе вопрос, Федорова: не появлялся ли он в городе, не заходил ли к тебе и знала ли ты о его побеге до сегодняшнего дня? Отвечай честно и точно. Это пойдет только на пользу Невскому... да и тебе,— закончил он после небольшой паузы и посмотрел на мгновенно изменившееся лицо Фени, с которого сразу же слетел румянец.

— Нет, нет, что вы, не видала я его с тех самых пор. И дома про это никто еще не знает.

— Так вот, если Невский появится в городе или ты узнаешь о месте, где он может скрываться, ты, Федорова, обязана немедленно сообщить об этом в милицию. Если этого не сделаешь, то впоследствии будешь отвечать за сокрытие Невского по всей строгости закона, как соучастница.

Феня, испуганная этим строгим предупреждением, глотнула воздух и согласно закивала головой.

И тут заговорил прокурор:

— А не говорил ли Невский тебе о том, что намерен совершить побег?

— Да что вы, что вы,— запротестовала девушка.—

Я же его не видела после суда. Когда в машине увезли под охраной, с тех пор и не видела.

— Ну что же, теперь все тебе ясно, Федорова?— спросил прокурор, вставая из-за стола.— А ведь глупость совершил твой дружок, да еще какую! Теперь бы с чистой совестью ушел на фронт, защищал Родину, а получилась несусветная дурь, глупость, я даже не нахожу слов, как этот поступок назвать. Все, Федорова, иди и помни о нашем разговоре,— официально, сухо подвел он итог и проводил Феню до дверей каким-то задумчивым, грустным взглядом, будто в чем-то сочувствовал этой совсем молодой цветущей девушке.

Переступив порог своего дома, Феня встретилась с тревожными глазами с нетерпением ждавшей ее матери.

— Опять стряслась беда какая?— спросила та.— Не тяни, ради бога, говори.— Мать закашлялась и, когда отдышалась, продолжала, стирая полотенцем с лица выступивший пот:

— Опять, поди, из-за этого варнака? Так и чуяло мое сердце. Да говори ты, наконец, рассказывай.

— Убежал он, дурак, из тюрьмы.

— Ох ты, горюшко! Да как же это?

— А вот так: взял да и убежал.

Помолчали какое-то время, обдумывая случившееся. Потом мать спросила:

— А ты-то при чем?

— Спрашивали, не видали ли его в городе, не встречала ли, мол, а если встретишь или услышишь о нем, сообщи сразу же в милицию, иначе тебя, дескать, вместе с ним будут судить как сообщницу.

Мать, выслушав этот невеселый рассказ, только вздохнула.

— А у меня, дочка, доктурша ваша была, как раз опосля того, как ты ушла. В больницу меня ложат, двухстороннее воспаление легких, говорит, у меня. Ты уж за Степкой присматривай дома, за шалопаем этим. А насчет охломона Сашки, ежели что узнаешь, в обязательном порядке сообщи в милицию. Ишь, орел выискался. Сколь раз твердила тебе, не связывайся с ним, дурак он дураком, сплошной шалопай. А ты одно и то же: хороший Сашок, добрый, веселый, сильный. Вот тебе и добрый. Теперь-то, поди, вспомянула материны слова?

Сидя за столом напротив матери, Феня вполуха слушала ее ворчанье. Сокрушенная только что услышанным в прокуратуре, она, по-бабьи заложив сложенные вместе ладони

между колен, думала о Сашке: какой он сейчас? Поди, похудел на казенной-то еде, стриженый стал, каким видела его в последний день в суде, за барьерчиком. И черт же его надоумил на такое страшное дело — бежать из тюрьмы! Ведь там, конечно, зоркая охрана. Но Сашка — вот же безрассудный какой — сумел прямо из-под ружья убежать. Но куда, зачем? А может, его сейчас и вовсе нет в живых, может, пуля настигла непутевого, а может, умирает с голоду где-то, затаившись от людей. И от этих размышлений она в конце концов горько, безутешно заплакала, как плакала в детстве от незаслуженной обиды, но не от боли.

— Вот-вот, повой, порыдай об нем. Тебя теперь по милициям еще потаскают за него, попомни мои слова,— сердито брюзжала мать, которой Невский давно не нравился своим иногда, казалось, беспричинным весельем и дурашливостью. Старуха мечтала о Фенином женихе — человеке степенном, деловом и хозяйственном. А ведь у Сашки на уме были только танцульки да хиханьки-хаханьки. И дылда этот заморочил девке голову, стала она все больше тратиться на платья да крутиться у зеркала, вместо того чтобы помогать матери по дому, по хозяйству. А иной раз и огрызаться начала: «Ах, оставьте, мама, свои нравоучения, чай, не маленькая я, сама знаю, что делаю». Вот тебе и не маленькая, влипла с этим дуралеем в историю, всю получку украли да еще по судам ни за что ни про что затаскали, а теперь, считай, под надзор милиция возьмет, да еще неизвестно, что может отчебучить этот острожник...

И все же где-то в глубине материнского сердца тлела, шаяла искорка жалости к дочери: влюбилась в этого Невского, а сердцу-то не прикажешь в такие молодые годы...

— Ну, вот что, Ефросинья, кончай свои рыдания, что случилось-произошло, тому и быть. Может, еще все обойдется. А ты давай-ка, собирай меня в больницу да помни мой наказ: блюди себя, будь умницей. Одна теперь ты у меня надежда и опора, следи за домом, за Степкой. Он скоро из школы придет, гляди, чтобы, как поест, сразу за уроки, а не шастал по своим дружкам.

ТЫ КУДА?

Размеренно стучали колеса, выговаривая на стыках занудливо втемяшившуюся в голову фразу: «Ты куда, ты куда, ты куда...» Невский даже чертыхнулся про себя: ведь прилипнет такая холера. Вроде спрашивает: куда, мол, едешь? Знамо дело, куда — на фронт. Но колеса бесконечно отстукивали свое «ты куда, ты куда». Тогда Сашка прижал ухо к мешку с буханкой, а другое плотно зажал ладонью. Но так лежать долгое время было неудобно, и когда поднял голову, в ушах опять то же самое.

Невский старался ни о чем не думать: будь что будет. Самое главное — добраться поскорее до фронта. Но не думать ему не удавалось. Сами собой откуда-то из глубины памяти выплывали картины, одна тревожнее другой. Вот промелькнул пятками парень в кепке и скрылся за танцплощадкой. Догнать бы его, паразита, и все бы по-другому повернулось.

Вспомнилась тюрьма. И хотя все заключенные были одинаково коротко остриженные, этот, совсем еще не старый, с мутновато-голубыми глазами, был лыс, как куриное яйцо. Прежде чем сказать какую-нибудь гадость, он кривил губы в презрительной ухмылке. Четверо молодых его дружков-уголовников угодливо хихикали, скручивали ему самокрутки, всячески заискивали. Держались они от остальных особняком. Иногда забивались в уголок на нарах и о чем-то шептались.

И вот однажды после ужина лысый уставился на Невского и, цыкнув сквозь зубы слюной ему под ноги, сказал, шепелявя, коверкая слова:

— Ты, мужик, канай до меня, здороваться будем.

Четверо парней насторожились, готовые, точно цепные псы, по малейшему движению лысого кинуться на новичка, которого привели в барак четыре дня назад.

— Ты кто?— спросил плешивый.

— Как кто — человек,— спокойно ответил Невский.

Лысый обернулся к четверке:

— Видали фрайера? Он же просто человек и притопал к нам в гости узнать о здоровье, о нашей житухе. А?

Четверка угодливо захихикала.

— Ну, топай поближе. Моя кликуха Леха Петля. Я вор в законе. Понял?

Невский почувствовал, что готовится что-то опасное, пакостное. Он хотел просто отойти от этого мерзкого кривляющегося и довольно хилого человечка, но парни из

четверки вдруг накинули ему на голову одеяло, повалили на нары, и сквозь посыпавшиеся удары он услышал голос лысого:

— По харе не трогать...

Самое горькое, обидное было в том, что никто из заключенных не прекратил это гнусное избиение. Когда избитого Невского, наконец, распеленали, лысый сказал ему:

— Ето тебе, гниденыш, прописочка...

Невский поднялся и что было силы ударил Леху Петлю в лицо. Тот скатился с нар, завопил. И снова никто не сказал ни слова. Пораженная случившимся, безмолвствовала вся четверка. Больше Невского не трогали. В тюрьме физическая сила глубоко почиталась. А через неделю и Леху Петлю, и его подручных увели из барака, их нары заняли новички.

...«Ты куда, ты куда, ты куда?» — размеренно, как метроном, все спрашивают колеса Невского. Да все туда же, на фронт, куда еще теперь?

А как там мать, знакомые? Ведь наверняка уже сообщили им о побеге, небось, уже наведались из колонии, из милиции, ищут теперь меня. Но кто догадается, что сбежал я на фронт? К одному позору теперь добавился другой, который ничем нельзя смыть, кроме как попасть на фронт и воевать. И в сознание ворвалась вдруг жесткая, и уже не в воображении, а теперь очевидная близость пока неясной опасности. И, наверняка, она обязательно придет, хотя и с какой-то отсрочкой, но случится что-то самое страшное.

Но сильная усталость от всего пережитого за последнее время постепенно притупила остроту чувств. Колеса больше не спрашивали «ты куда, ты куда», и наступил не сон, а какой-то тяжелый мрак. И сквозь него нет-нет, да и вспыхивали, наплывали свирепой необузданностью жестоко укоряющие, жалящие и мозг, и сердце отрывки пережитых сцен. То вдруг на минуту чувствовал очищающую гордость за то, что теперь уже скоро впереди ждет что-то новое, искупающее сделанные ошибки, то сжимало сердце предчувствие неясной грозной беды.

Наконец он провалился в тяжелый сон и проснулся от сильного толчка, от страшного грохота разорвавшейся, казалось, совсем рядом, где-то впереди состава, бомбы, и сразу же совсем невысоко над головой мелькнул немецкий самолет. Невский вскочил сначала на четвереньки, потом во весь рост и огляделся. Впереди над одним из

вагонов поднималось чадное пламя, а левее уходящего вдаль полотна поднималось почти в полнеба пожарище над какими-то домами, над деревьями, и оттуда до слуха явственно доносился грохот бомбовых ударов. «Вот и началась для меня война, вот и встречаю ее»,— с тревогой и какой-то внезапно появившейся энергией подумал Сашка и проворно спустился с вагонной крыши.

Около горящих вагонов толпилось с десяток красноармейцев с баграми и лопатами. Они бегали к паровозу и, наполнив ведра кипятком, плескали им на вагоны. Другие швыряли в пламя лопатками землю. Нужно было срочно оттащить паровозом эти вагоны от других, целых, но паровоз вышел из строя и из его пробитого котла с брызгами кипятка вырывались остатки пара. Передними колесами локомотив уперся в самую воронку, над которой от взрыва вздыбились согнутые рельсы.

— Дуй за водой, парень, быстрее,— крикнул ему военный и сунул ведро,— да не ошпарься, там кипяток.

И Невский, схватив ведро, помчался вдоль состава к паровозу, посторонившись двух встречных, торопливо идущих с полными ведрами. На ходу он успел услышать, как один из них, запыхавшись, проговорил:

— Сперва весь тендер разворотил, вся холодная вода вытекла...

Вагоны кое-как удалось потушить, и теперь из них вытаскивали обгоревшие длинные ящики с винтовками, кавалерийские седла, связанные за дужки солдатские котелки со вздувшимися пузырями зеленой краски, шанцевые лопатки...

К Невскому подошел военный в фуражке с темным околышем, двумя сержантскими треугольниками и скрещенными пушечными стволами в петлицах — эмблемой артиллеристов.

— А ты откуда взялся? Куда ехал?

— Догоняю свою часть,— брякнул первое пришедшее на ум Сашка,— отстал маленько...

— Ишь ты, обстригли, обкорнали, а обмундирование не выдали,— проговорил сержант.— Видишь, боец, какая беда приключилась,— кивнул на состав.— До станции чуток не дотянули, а он, гад, всего две бомбы бросил и попал. Да и на станции еще неизвестно как бы получилось, бомбят ее фашисты.

Сержант достал из кармана портсигар и протянул Невскому. Тот, глянув на серебристый мельхиор крышки,

невольно вздрогнул: точно таким же ударил он тогда очкарика.

— Ты чего?— увидев смятение Невского, спросил сержант.— Некурящий, что ли?

— Да нет, курящий, только у меня точно такой же был...

— Потерял, жалеешь? Штучка-то фасонистая, дорогая для меня. Понимаешь, в последний момент на вокзале жена подарила. Вспоминай, говорит, Федор, меня и детей, как будешь закуривать. Такие вот дела,— вдруг погрустнел сержант.— Пойдем, братуха, надо решать, как теперь быть дальше. Я ведь здесь старшим назначен.

Сержант Федор выстроил подчиненных около выгруженного военного имущества и обратился к стоявшему в сторонке Невскому:

— Ты чего, боец, ждешь, а ну, становись!

— Кто желает остаться охранять состав, выйди из строя, а остальным — к станции. Нужно срочно разыскать начальство и принять меры по спасению военного имущества. Ведь что получается, товарищи, ведь за нами идут другие составы, следовательно, здесь им хода дальше нет. А если скопятся, да опять эти гады налетят?

— Надо кого-то вперед составов выслать, чтобы предупреждал,— хрипловатым баритоном подал совет боец в обгорелой гимнастерке, и Невский узнал этот голос, прозвучавший на полустанке, где он залез на крышу вагона. Тогда этот красноармеец возмущенно говорил кому-то другому, что какого хрена, мол, тянут с отправкой, вот налетят, и тогда хана.

Но Невский не придал тогда этому особого значения. А вышло в конце концов, что налетели.

— Правильно, Сычов, говоришь. Вот ты и дуй немедля назад, предупреждай, а нас в случае чего найдешь на станции. Зуев и ты, Герасимов, назначаетесь охранять состав, остальные за мной на станцию, прямо по шпалам.

На узловой станции горел пакгауз, левое крыло вокзального здания было разрушено бомбежкой. По перрону бегали военные и беженцы с узлами и чемоданами. Около путей лежало несколько обезображенных трупов, выброшенный из вокзала взрывной волной фикус вместе с кадкой лег прямо поперек полотна. Навзрыд плакала девочка, потерявшая мать, а около перевернутой скамейки с металлическими фигурными ножками стоял с побелевшими от страха глазами мальчуган в матросской рубашке, и Невский

как-то машинально прочитал на ленточке бескозырки тисненые золоченые буквы «Герой».

Сержант Федор остановил торопливо трусившего куда-то немолодого военного со шпалой и эмблемой военного медика в петлице:

— Товарищ капитан, где комендатура, где железнодорожное начальство?

Военный медик непонимающе потряс головой и показал на уши: мол, контузия, ничего не слышу,— и по-стариковски затрусил куда-то.

— Всем за пути, всем с вокзала!— надрывался откуда-то явно командирский голос.— Налет может повториться! Всем с перрона!

Вместе с обезумевшей толпой сержант Федор повел своих подчиненных с перрона через, казалось, бесконечные рельсы и стрелки. Переползали под вагонами, помогая раненым и направляясь в тянувшуюся сразу за станцией, за вагонами степь. Где-то на путях горели вагоны с ватой или тканями. Гарь драла глотку и вызывала слезы.

В этой панической сумятице сотен людей, потерявших голову, Невский потерял сержанта Федора с бойцами. А вскоре на станцию налетели немецкие самолеты. Сашка снова, сначала по проселку, потом вдоль железнодорожного полотна, заспешил на запад и к вечеру на третий день вышел, наконец, к небольшому селению, еще не зная, что тут в тот день проходила передовая.

ПОЛКОВОЕ ЗНАМЯ

Полк отступал от Днестра с тяжелыми кровопролитными боями. После одной особенно сильной бомбежки и затем артналета была потеряна локтевая связь с соседями. От прямого попадания в штабной автобус погибли командир полка, тяжело ранило начальника штаба, который, не приходя в сознание, умер через час. Командование принял на себя командир саперного батальона старший лейтенант Соколов — кадровый командир, награжденный в боях с белофиннами орденом Красной Звезды. От полка теперь осталось немногим более двухсот активных штыков, и Соколов сгруппировал из них три роты. Однако и теперь уже не полный батальон считался полком, так как была сохранена воинская святыня — полковое знамя. Его нес в вещевом мешке за плечами майор Зайцев из военного трибунала.

Отход осложнялся тем, что было примерно около сорока раненых бойцов и командиров, многие из которых не могли сами передвигаться, их везли в пяти уцелевших повозках.

Двигался отряд, ориентируясь по карте, обходя крупные населенные пункты. Шли по проселкам, иногда натыкаясь на немцев, и вели бои на прорыв. На четвертый день высланные вперед разведчики возвратились с докладом: впереди небольшое селение и восточнее его неглубокая река, правый берег которой крутой, удобный для обороны.

Оторвавшись на целый дневной переход от немцев, отряд вступил в небольшой — домов на двадцать — населенный пункт, из которого на восток выехали все жители. Дома стояли пустые, торопливо брошенные, осиротевшие. Соколов решил дать небольшой отдых вконец измотанным, валящимся с ног от усталости бойцам перед последним броском к реке, которую еще предстояло форсировать. До реки оставалось километров шесть-семь, но сразу за селением к ней шла открытая ровная безлесная местность.

Следовало дождаться ночи.

Соколов собрал в одном из окраинных домов, занятом под штаб и командный пункт, всех командиров: майора Зайцева, двух лейтенантов, один из которых был военфельдшер, старшину Быкова и старшего сержанта Косенко, командовавших взводами, и отдал приказ: с наступлением темноты направить с небольшими интервалами к реке повозки с ранеными, оставив в арьергарде взвод под командованием старшего сержанта, бывшего хасановца коммуниста Косенко, который будет имитировать сильную оборону. Взводы лейтенанта Хохлачева и Быкова форсированным маршем выступают головной и боковой походной заставами, готовят переправу, форсируют реку.

В одной из повозок Соколов вез запас противотанковых и противопехотных мин на тот случай, если придется прочно занять оборону и заминировать к ней подходы. Теперь он колебался: стоит ли перед этой деревушкой минировать предполье? И, посоветовавшись с командирами, до наступления темноты решили расставить мины перед отрытой бойцами траншеей. Этой работой Соколов руководил сам. Вместе с четырьмя саперами расставили все мины и фугасы, а когда минирование закончили, из-за небольшого леска западнее селения прибежал дозорный и доложил Соколову, что справа на шоссе замечено движение двух танков и пехотной колонны немцев.

— Ты точно увидел только два танка?— спросил старший лейтенант.— Может, их больше?

— Никак нет,— ответил младший сержант Пришельцев.— Танков два, я их хорошо разглядел: тяжелые, удлиненные, с тонкими стволами, это точно «Тэ три».

— Возвращайся, возьми с собой еще двух бойцов, и докладывайте сразу обо всем, что увидите. Может быть, немцы так и пройдут по шоссе мимо, не свернут к нам.

Когда младший сержант с двумя бойцами ушел, Соколов подал команду всем укрыться, повозки замаскировать за домами, две пушки вывести на прямую наводку.

Солнце уже коснулось верхушек леска, потянуло холодком и стал слышен рокот танковых моторов. Забравшись на чердак, Соколов распахнул в нем оконце и разглядел в бинокль и танки, и примерно роту немцев, шагавших походной колонной. Сбоку ехал на лошади всадник — командир.

На чердак к Соколову поднялся майор Зайцев.

— Что там видно, старшой?

— Два танка и примерно до роты пехотинцев идут по шоссе.

— Дай-ка бинокль, любопытно посмотреть, куда они направляются.

Майор подкрутил резкость и с минуту рассматривал немцев.

— Я ведь не совсем разбираюсь в стратегии и тактике, Соколов,— передавая старшему лейтенанту бинокль, сказал Зайцев,— служу без году неделя, считай, обкатываюсь, привыкаю к военно-полевой, как говорят, жизни. Прошел ускоренные курсы военных юристов — и на фронт. В Ленинграде заведовал кафедрой на юрфаке, а теперь вот стал трибуналовцем. Так вот, старшой,— снова произнес он услышанную где-то фразу, казавшуюся Зайцеву окопной, обыденной, произносимой людьми обстрелянными, бывалыми.— Так вот, по моему непросвещенному мнению, немцы изрядно утомились в пути. Ты обрати внимание, как лениво они шагают. И вот подойдут ближе, увидят, если уже не увидели нашу деревеньку и, конечно, обнаружив нас, сразу вступят в бой. Тем более что у них два танка, а у нас пушечки с десятью снарядами. Что тогда?

— Тогда — бой. Нам необходимо во что бы то ни стало отправить затемно к переправе раненых.— Соколов подумал о чем-то и добавил:— Ну а теперь дело с отправкой обоза меняется.

Оба помолчали в раздумье. Потом майор доверительно спросил:

— Считаешь, отобьемся? Но ведь если вслед идут или едут еще немцы? Танки? Ты об этом подумал?

— Я обо всем подумал, товарищ майор. Если свернут с шоссе к нашему селению, попадут на мины. Да и пушки у нас, и, если завяжется бой, под шумок пустим в обход повозки. Другого выхода пока не вижу.

— А ты вот об этом тоже подумал? — похлопал по заплечному вещмешку майор.— Ведь если потеряем боевое знамя, значит, расформируют полк, и тогда, извини за сравнение, станет наш полк, вернее, то, что от него осталось, просто драпающей от фашистов оравой... Короче, скажи: что дальше делать со знаменем, если начнется бой?

— Знамя мы обязаны сохранить, товарищ майор. Как старшему по званию не могу вам приказывать. Но, пока я командир полка, все обязаны мне подчиняться. И вот мой совет, если хотите, приказ — постоянно всюду быть вместе с вашими ассистентами. Это самые надежные в полку бойцы-коммунисты. Вас трое, и в случае гибели одного знамя возьмет другой. Повторяю: его мы обязаны сохранить, и сохраним. Теперь последнее, товарищ майор. С этой минуты отправляйтесь с обозом раненых. В бою вам участвовать незачем, тем более с пистолетом, а это — оружие ближнего боя, да и стреляете, я думаю, не очень метко. Не так ли?

— К сожалению, так. Но всадить пулю в фашиста смогу. Между прочим, на курсах у меня были не совсем плохие показатели по стрельбе и по метанию гранаты. Так что в случае чего прошу не списывать меня со счета как боеспособную единицу,— закончил майор с виноватой улыбкой.

Когда спустились с чердака, к Соколову подбежал запыхавшийся боец Пришельцев:

— Товарищ старший лейтенант, вражеское подразделение остановилось на шоссе у поворота к проселочной дороге. Видимо, решают направиться в наше село. Наблюдение продолжаем с нового места.

И тут же к ним подбежал другой красноармеец. Округлив от страха глаза, он почему-то вполголоса, будто его может услышать кто-то посторонний, доложил:

— Товарищ командир, к селу едут немцы на двух мотоциклах.

«Значит, это разведка,— решил Соколов.— Если они не

подорвутся на минах, то обнаружат траншеи. Значит — к бою».

Старший лейтенант приказал Пришельцеву срочно вызвать всех командиров к штабу, и когда они подошли, Соколов поставил новую задачу:

— Товарищи командиры, обстановка изменилась, к селу направляются двое мотоциклистов с целью разведки. Боя нам теперь не избежать. Поэтому приказываю взводу Хохлачева отправиться с повозками к переправе. На сборы пять минут. Остальным приготовиться к бою. Огонь открывать только по моей команде. Всем по местам, Хохлачеву остаться.

И когда все разбежались по командным местам, Соколов обратился к лейтенанту Хохлачеву:

— Майор Зайцев несет полковое знамя. Прими все меры, чтобы спасти его. Возьмите побольше гранат. А теперь прощай и не медли ни секунды с отправкой.

Старший лейтенант вошел в дом, чтобы привести в порядок документы, собрать на всякий случай личные вещи — шинель, небольшой чемодан с документами. В это время из-за леска наползла темная туча, хлестнули порывы ветра, и вскоре заморосил мелкий дождь. Соколов, глянув в окно, отметил про себя, что внезапно сгустившиеся от непогоды сумерки, начавшийся дождь как раз будут благоприятствовать продвижению обоза.

ПЕРВЫЙ БОЙ

Такая сложилась обстановка в селении, к которому Сашка подходил.

На околице откуда-то навстречу ему вышел красноармеец, вооруженный винтовкой со штыком. Невский уже еле волочил ноги по размокающей от начавшегося дождя дороге.

— Стой, гражданин, куда идешь?

— Где тут командование?— сквозь спекшиеся губы спросил Сашка.

— А для чего тебе оно, командование-то? Тут передний край, а ему командование! Да кто ты такой, откуда здесь взялся? А ну, показывай документы да проваливай побыстрее,— застрожился красноармеец. А в серых глазах его, где-то в их глубине, читалось любопытство: что, мол, за чудной человек появился на переднем крае в такое время? Может, шпион?

— Нету у меня документов, прямо из тюрьмы я сюда, на фронт сбежал.

От удивления красноармеец вытаращил свои светло-голубые глаза и даже открыл рот.

— Вот ета да,— протянул он, крайне озадаченный таким неожиданным ответом незнакомца. Затем решительно приказал:

— А ну, шагай вон к той избе.

Сашка не знал, как ему поступить с руками, коли за его спиной стоял вооруженный человек, приказавший идти вперед: сцепить их за спиной, как делал, когда водили на допросы, или идти, как ходят свободные люди? И на всякий случай скрестил замком руки за спиной и сразу ссутулился.

В домике, куда привел его красноармеец, за столом сидел старший лейтенант Соколов. Когда Невский с конвоиром вошли в комнату, он встал из-за стола и хмуро бросил:

— Что за порядки, красноармеец Суворов? Что это за человек?— кивнул на Сашку.

— Товарищ старший лейтенант,— по уставному обратился боец с полководческой фамилией, даже невольно улыбнулся: еще один «генерал», и тоже, может, Александр...— задержанный мной гражданин прямо в деревню пер. Ну, я и «Стой, руки вверх!»

— Откуда шел-то он? Из тыла или с передовой?— не обращая внимания на Сашку, будто его в это время не было в комнате, допрашивал командир.

Суворов, пожав плечами, неопределенно сказал:

— А кто его знает, может, и оттедова,— кивнул на запад.— Только думается мне, что это не иначе, как шпион.

Старший лейтенант глянул пристально на Невского и, наконец, обратился к нему:

— Рассказывай, да покороче: кто, откуда?

— Фамилия моя Невский,— начал Сашка, но старший лейтенант перебил его:

— Может, еще и Александр? Александр Невский?

— Александром зовут,— пробормотал смущенно Невский, поняв, что такое начало разговора не сулит ему ничего хорошего.

— Та-а-ак,— уже открыто, с нескрываемой иронией улыбнулся командир.— Один Суворов уже есть,— кивнул на красноармейца,— теперь появляется Невский. Потом,

глядишь, появятся Кутузовы, Багратионы, Нахимовы. Валяй, ври дальше.

— Я сбежал из тюрьмы. Документов у меня нет. На фронт я, к вам бежал,— в глотке у Невского пересохло.— Хотя бы воды глоток, товарищ, то есть гражданин старший лейтенант. Почти трое суток не пил, не ел.

Не то недоумевая, не то удивляясь, старший лейтенант зачерпнул из ведра ковш воды, а когда Сашка жадно выглотал ее, достал из вещмешка буханку хлеба и открыл банку мясных консервов. Невский, как и всякий сильно изголодавшийся человек, ел жадно, торопливо, боясь, что старший лейтенант скажет: «Ну, мол, хватит». Когда закончил еду, командир спросил:

— За что же тебя посадили, что за преступление совершил ты, Александр Невский? Такую редкую гордую фамилию опозорил, коли не врешь, а действительно ли ты Невский, да еще тезка великого полководца?

И Сашка, чуть разомлевший от пищи, почувствовав прилив сил, рассказал о событиях того трагического майского вечера в городском саду.

— Сильно погорячился я тогда. Парень тот был прав по-своему, но ошибся и настоящего-то ворюгу не заметил, а меня принял за него,— доверительно и печально говорил он,— я того грабителя обязательно бы догнал, не получи подножку. А подружка моя, Феня звать, не смогла на суде защитить. Да и как защитишь, когда изуродовал физиономию человеку. С того дня и пошло... Вот и решил свой поступок на фронте оправдать, кровью смыть. Назад живым ни за что не вернусь,— закончил с неожиданной отчаянностью.

Старший лейтенант во время этого рассказа, казалось бы, равнодушно, безучастно слушал Невского вполуха. Помолчав, заговорил:

— Парень ты наш, советский, взрослый человек, а рассуждаешь совсем по-ребячьи, а может, лукавишь, темнишь. Ну, во-первых,— он глянул куда-то вверх, в потолок,— за свой поступок, за преступление, точнее говоря, ты понес наказание, но не отбыл его. И тут же совершаешь второе преступление — побег. А ведь совершить побег не так-то просто. И кто знает, не совершил ли и тут ты, Невский, еще одного преступления, скажем, не напал ли на конвоира... Да мало ли что могло в этой ситуации быть. Не сказали же тебе: беги, парень, а мы глаза закроем. Теперь дальше. Как ты без документов, без денег

и куска хлеба шел в такую даль? За спасибо, как нищего, тебя наверняка никто не поил, не кормил, не давал ночлега. Выходит, и тут пришлось приворовывать, а может, и грабить.— Ты слушай, не прыгай, не возмущайся,— повысил голос Соколов, когда Невский вскочил со стула.— Что в настоящей обстановке с тобой сделать? Я не военком, не имею прав и полномочий зачислять тебя без документов, без принятия присяги в свое подразделение. Считаю, что тебя, совершившего сразу два, а может, черт тебя знает, и больше преступлений, я обязан отконвоировать в военный трибунал. Там разберутся. А у меня нет ни прав, ни времени проверять твои поступки.

— Отведи его,— кивнул на Невского,— к майору Зайцеву в обоз, проверь, чтобы все, о чем он мне рассказывал, совпадало, и быстро с докладом назад.

Суворов повторил приказание. Когда они спустились с крыльца — впереди Сашка, за ним конвоир,— к домику подбежал Пришельцев.

— Немец, ребята, к нам в деревню попер с шоссейки, вперед двух мотоциклистов выслал, теперь отбиваться придется,— сообщил он на ходу. Вбежав в комнату к Соколову, начал доклад по-уставному:

— Товарищ старший лейтенант, разрешите обратиться...

— Что там?— перебил Соколов.

— Вся колонна на проселок свернула с шоссейки, впереди танки.

— Чёрт подери, все-таки повернули,— досадливо тряхнул головой старший лейтенант,— значит, будем опять воевать, Пришельцев. Давай — в траншею.

А в это время Суворов с Сашкой бегом свернули в проулок, направились к тому месту, где должен стоять обоз с ранеными из пяти повозок, крытых брезентовыми пологами с красными крестами по бокам. Едва сделали несколько шагов, как где-то справа один за другим с грохотом разорвались снаряды. Вслед за этим взрыв прогремел совсем недалеко, впереди, и Суворов с Невским, как по команде, упали на дорогу рядом с палисадником, прямо в лужицу, образовавшуюся от все учащавшегося дождя.

Обстрел продолжался. Методично, видать, бесприцельно, немцы посылали снаряды и мины. В воздух взлетала солома крыш, комья земли, сразу загорелись дом и какой-то сарай. Из траншей послышалась густая оружейная и пулеметная стрельба, два раза выстрелили «сорокапятки»,

и в небольших паузах с вражеской стороны участились дробные очереди немецких автоматов.

Потом внезапно стало так тихо, что послышался треск пылавшего деревянного дома и звон дождевых капель по лужам.

Суворов поднялся, тряхнул Сашку за воротник и зло, больше от охватившего его страха, переводя дыхание, прокричал ему прямо в лицо:

— Ну куда мне с тобой, а? Как я тебя сейчас к майору буду вести, змея подколодного? Мне в траншею надо, в свой взвод, там немец попер. Шпокнуть бы тебя на месте...

Сашку трясло и от пережитого первого в жизни артобстрела, и от угрозы Суворова. Обострившимся в создавшейся обстановке сознанием он понял свою никчемность и непричастность к происходящему.

— А ну бегом, вперед!— вдруг крикнул, срываясь на фальцет, Суворов.

Когда выбежали за колхозные амбары, наткнулись на единственную повозку с ранеными. Ездовой нахлестывал концами вожжей лошадь и матерился.

— Где майор?— спросил Суворов.

— Уехамши с первой подводой. Минут двадцать, как укатили.

— Вот те на!— удивился Суворов.— Куда же он уехал?

— На кудыкину гору. Не знаете, что раненых вакулируем к переправе,— уже трогая повозку, на ходу ответил ездовой.

— Вот влип, дак влип я с тобой, острожником!— еще больше запсиховал конвоир. И, как бы размышляя вслух, продолжал:— Если доложу старшему лейтенанту, что не успел, мол, передать тебя в трибунал, ушел обоз, он меня к стенке: проволындил, сукин сын, струсил, когда фашист стал кидать по деревне снаряды, теперь в темени кромешной дуй, догоняй! А тебе ведь долго ли сигануть от меня в потемках, долговязому...

— Нет, я не убегу,— ответил Невский,— мне некуда бежать, я, наоборот, из тюрьмы к вам бежал фашистов бить. Ты не серчай, побежим за подводой, пока она далеко не отъехала. Должны же догнать.

— Теперь только и остается догонять ветра в поле! А приказ старшого слышал: передать тебя майору, обсказать все про тебя, каторжанина,— и бегом назад. А так запросто в трусы, в дезертиры зачислят, да и к стенке,— опять иносказательно назвал Суворов крайнюю меру наказания.—

2—2391

Нет,— немного смягчаясь и озаренный какой-то внезапной мыслью, заговорил Суворов.— Нельзя их догонять, заблудимся в темень да в этакий ливень, пропадем ни за грош. Может, так сделаем,— предложил конвоир,— я бегом к нашим, может, немец вовсю уже давит, а ты смывайся за обозом и сам майору обскажешь обо всем. А я доложу, что вроде приказ выполнил. Как ты на это?

— Нет, нет,— закричал Невский,— лучше застрели или дай винтовку, я сам себя...

— Ишь ты, застрелиться ему понадобилось!— теперь уже с нотками добродушной иронии произнес Суворов.— Да я разве могу обмануть своего командира? Тебя, парень, испытывал: какой ты в самом деле. Оказывается, ничего себе, не трус.

И это впервые сказанное «парень» вместо «шпион», «острожник», «каторжанин» блеснуло каким-то слабым, тлеющим лучиком надежды на его, Александра Невского, желание осуществить самое сейчас главное в жизни — стать защитником Родины, которая оказалась в такой страшной беде, взять, наконец, в руки винтовку, стать плечом к плечу со своими сверстниками, такими, как вот этот немного заполошный, издерганный бесконечными отступлениями, неравными боями красноармеец Суворов. Такой, как он, ни на минуту не теряет веру в победу, до конца верен присяге, воинскому долгу. И сейчас Суворов — голубоглазый, светловолосый простой русский парень — оказался из-за него, Сашки, в крайне затруднительном положении. Нужно было немедленно что-то решать. Но что?

Дождь уже превратился в сплошной густой ливень, гремели раскаты грома, сверкали непрерывно молнии, и было непонятно и жутко: то ли грохочут пушки и рвутся с ослепительными вспышками снаряды, то ли громыхает, будто грозно строжась над людьми, убивающими на земле друг друга, гроза. Сквозь пелену дождя, точно неохотно, поднимались ракеты и лениво тускнели, гасли.

Парни вымокли уже до нитки. При других обстоятельствах они легко могли забежать в пустой дом, стоявший рядом, скрыться от ливня, но сейчас, не замечая зябкой сырости, возбужденные, растерявшиеся, ждали чего-то важного, что, наконец, приведет их к какому-то решительному действию.

— Да черт с ним,— наконец решив что-то про себя, заговорил конвоир,— к стенке в конце концов не поставят,

не до того сейчас нашим. Ты вот говорил, что вроде снайпером был на гражданке?

— Стреляю хорошо. Правда, из малопульки,— стуча зубами от холода, пробиравшего до костей, и оживляясь от появившейся слабой, но такой радостной надежды, ответил Сашка.— Могу и из трехлинейки, не промахнусь. А что?

— А вот что надумал я. Давай назад. Обскажем все, как было, старшему лейтенанту, и пускай хоть что делает. Чего стоять-то мокнуть, может, там совсем тяжело нашим...

И Невский, выслушав Суворова, не понял: то ли советуется он с ним, то ли это окончательное его решение? И будто прочитав эти мысли Невского, конвоир, трудно вздохнув, подтолкнул Сашку за локоть...

Шли, держась друг за друга, по осклизшей дороге в непроглядной тьме, смутно освещаемой иногда ракетными сполохами. Сашка два раза падал, виновато извиняясь. Ботинки его совсем расквасились, а у левого отрывалась подошва.

— Ни черта, скоро будем на месте,— храбрясь, отвечал Суворов.— Танкам в такую грязюху просто хана, забуксовали, поди, а наши пушкари тут и влепили им. Да ты не трусись, может, оно и обойдется еще. Тебя как зовут-то?

— Сашкой, Александром. А фамилия у меня действительно Невский, хотя старший лейтенант не поверил и, может, из-за фамилии и прогнал в трибунал.

— А у меня-то,— хохотнул конвоир,— Суворов. Ведь надо же — Суворов и Невский на войне схлестнулись. Ну не потеха ли? Если живы будем, кому ни расскажи — не поверят. Да шут с ними, с фамилиями, не до этого теперь.— И после некоторого раздумья добавил:— Хорошо бы показать себя в бою. Тогда пускай зубоскалили бы наши: глядите, мол, Суворов с Невским как полководцы дерутся, фамилии свои оправдывают, исторические герои, да и только.— И снова тяжело вздохнул.

Вышли, наконец, на околицу, откуда до траншей было совсем недалеко. Гроза стала утихать, и гром урчал что-то свое, сердитое уже на востоке, подул ветер, и небо стало светлеть, а вскоре между поредевшими тучками, торопливо летевшими куда-то вслед за громом, появилась оранжевая краюшка луны, и тучки, торопливо проплывая, будто обмывали ее.

— А почему это ни наши, ни немец не стреляют?— спросил встревоженно Суворов.— Неладно, видать, что-то..

ПЕРЕПРАВА

Майор Зайцев, не дождавшись Хохлачева и фельдшера, начал выводить из селения обоз с ранеными еще до грозы. Когда через интервал в пять минут он скомандовал двигаться второй повозке и та двинулась, подозвал ездового с последней, пятой, и приказал ему двигаться на визуальную связь ровно через пять минут.

— Какая такая визуаль?— спросил ездовой майора,— по-понятному объясните, товарищ майор.

— Ну, понимаешь, визуальная, это на военном языке видимая: увидишь перед собой повозку, и держись ее направления.— Торопливо объяснив красноармейцу, Зайцев побежал к первой повозке. И в это время сзади загрохотали пушки, стали беспорядочно, бесприцельно рваться фашистские снаряды.

Запыхавшись, майор догнал первую подводу и зашагал рядом с ездовым.

— Догнали, выходит, немцы нас, товарищ майор. Успеем ли к переправе?— спросил он Зайцева.

— Обязательно должны успеть, во что бы то ни стало,— уже тоном приказа дополнил он.

В это время из повозки послышался голос раненого, голова и лицо которого были забинтованы, и сквозь несвежие бинты виднелась только щелка, оставленная для рта, и оттого голос его звучал глухо и невнятно:

— Вы, майор, слышу, командир наш. Неужто всех порешили, раз отступаем? Меня-то не бросайте в случае чего, я же слепой, куда мне?

У Зайцева от этих слов, совсем не жалостных, не трусливых, сжалось сердце.

— Не отступаем мы, товарищи,— громко обратился он ко всем семерым, лежащим и сидящим в повозке.— Отвозим вас на всякий случай, а полк,— он выделил интонацией это слово,— держит оборону. Скоро на новом рубеже закрепимся и будем ждать помощи. А помощь, товарищи, должна обязательно подойти, хотя, не хочу обманывать, не знаем точно, когда она подойдет.

— Это хорошо бы,— сказал кто-то в повозке.— Если полк за рекой займет оборону, тогда можно продержаться до подмоги.

И ободренные тем, что не преувеличил майор бодрячески-лихо насчет подмоги, а откровенно сказал, что не знает точно, когда подойдут свежие силы, раненые воспрянули духом и заговорили оживленно, даже с шут-

ками, ввертывая в адрес немцев злые соленые словечки. А Зайцев, пропустив подводу, стал ждать следующую, чтобы поговорить с ранеными, страдающими от боли да еще от тряски подвод по ненаезженному проселку. В лицо ему ударил холодный влажный порыв ветра, и, заглушив теперь отдалившуюся перестрелку, грохнул гром. Сквозь все густеющую сетку ливня он вскоре увидел вторую подводу, за которой недалеко, метрах в тридцати—сорока, шли остальные. По брезентовым пологам повозок дождь бил с неистовым треском, лошади с большим трудом волокли повозки по раскисшим колеям проселка. Зайцеву вместе с ассистентами часто приходилось помогать ездовому выталкивать их после того, как они вязли в колдобинах, вещмешок за плечами, в котором лежало полковое знамя, намок, оттягивая лямки, мешал при ходьбе.

Сколько времени длилась эта трудная дорога, временами казавшаяся бесконечной, никто не знал. И когда гроза стихла, небо стало очищаться и показалась луна, впереди на горизонте смутно появилась какая-то полоска. Вскоре под ногами перестало чавкать — проселок пошел по песку, а затем стал все явственнее вырисовываться невысокий водоохранный лесок вперемешку с кустарником. Еще через полчаса в одной из прогалин показалась светлая лента воды, в которой тускло отражался лунный свет, противоположный берег, казалось, вырастал, и когда повозки подъехали к ивняковым зарослям, начало светать. Ездовой с одной из повозок подошел к майору:

— У меня по дороге скончался раненый лейтенант. Похоронить бы надо, товарищ майор, ведь остальным неловко рядом с покойником, закоченел уже он. Да и кони не кормлены давно.

Ездовой вздохнул, выжал из пилотки воду и, нахлобучив ее, выжидательно уставился на Зайцева.

— Конечно, конечно, товарищ, обязательно похороним, как положено. Идите к своей повозке. Сейчас, как все соберемся, будем искать брод, так что передайте всем — не отлучаться далеко, и пусть на всякий случай рассредоточатся, держать постоянно со мной связь. Раненых покормить.

Теперь впервые в боевой обстановке майор, на которого свалилась такая серьезная ответственность, заговорил командирским голосом, употребляя глаголы повелительной формы, подражая командирам, которые подавали подчиненным короткие и четкие команды.

Зайцев со своими ассистентами осмотрел противопо-

ложный крутой берег неширокой речки, которая от прошедшего ливня помутнела, стала полноводнее, и отдал не совсем четкий приказ:

— Приказываю срочно отыскать место помельче с таким расчетом, чтобы можно было выехать повозкам на берег.

Когда красноармейцы ассистенты Семенов и Киквадзе, козырнув, направились выполнять приказание и отошли уже на порядочное расстояние, Зайцев вдруг бросился их догонять.

— Постойте, подождите,— позвал он.— Я вспомнил, что кому-то нужно вернуться назад, к нашим, и передать мое письменное донесение. Так что вы, товарищ Киквадзе, отправляйтесь сейчас же.

Зайцев достал из полевой сумки блокнот и, прислонив его к спине Бортника, написал несколько строк. Вручая свернутый листок Киквадзе, он сказал:

— В случае опасности уничтожьте и на словах передайте, что, мол, достигли берега, готовимся к переправе. Старший лейтенант, к которому обратитесь, пошлет ответ: как нам действовать дальше. Скажите еще, что военфельдшера и Хохлачева мы потеряли, не знаем, где они, и что питания раненым, да и всем нам, осталось только на день.— И совсем по-граждански добавил:— Счастливого пути вам, товарищ Киквадзе.

Удобный брод нашли метрах в трехстах ниже по течению, где речка широко разлилась на два рукава. Но вода все прибывала от ливня, прошедшего где-то в верховьях. И была еще одна сложность с переправой. Перебравшись на противоположный берег по относительному мелководью — Семенов прошел это место по колено,— нужно было по очень узкому берегу, почти под самым яром проехать до пологого подъема примерно метров сто. Зайцев, после доклада Семенова, сам прошел по этому месту до подъема на берег, измерил его ширину: повозки могли пройти это место, что называется, впритирку.

Вернувшись к повозкам, Зайцев собрал всех ездовых, трех санитаров и медсестру. Потерев ладонью седую щетину на лице и подправив лямки вещмешка, майор обратился к собравшимся:

— Перед нами река. Неглубокая, так что повозки могут пройти, но на противоположном берегу придется всем нам поддерживать каждую повозку в узком месте. А сейчас первая, головная, пусть выезжает,— опять нескладно скомандовал он.

Переправа прошла относительно благополучно, если не считать небольшого происшествия. В самом узком месте берега вся малочисленная команда, выстроившись цепочкой, поддерживала, страховала повозки. Когда пропускали предпоследнюю, майор неловко повернулся, подвернул ногу и свалился в воду. Цепочка дрогнула, и заднее колесо оказалось всего в нескольких сантиметрах от самой кромки, а повозка стала крениться, готовая вот-вот завалиться в реку. И тогда, напрягши все силы, повозку подперли, колеса ее выпрямились. А Зайцев, барахтаясь у берега, ухватился за ветки ивняка, склонившиеся над самой водой. Его сразу же вытащили, но без левого сапога.

На небольшом плато разместили между деревцев и кустарников повозки, ездовые распрягли лошадей, стали их кормить, а Зайцев, прижавшись спиной к колесу одной из повозок, стал выливать из уцелевшего сапога воду, вытянув голые тощие белые ноги. Он, еще совсем недавно сугубо гражданский человек, конечно же, не привыкший к дальним переходам, казалось, совсем потерял последние силы. Смертельно клонило ко сну, и нечеловеческим усилием майор заставил себя подняться на ноги. Медсестра принесла ему кирзовый сапог значительно большего размера, который оказался с левой ноги. Майор натянул сапог и, сделав шаг, едва не упал, медсестра успела его поддержать, и оба засмеялись: Зайцев густым баском, медсестра прыснула и пугливо зажала ладонью рот.

— Может, ботинки с обмотками?— неожиданно предложила она.

— Прекрасная идея,— обрадовался майор,— но только откуда они у вас?

— Да раненые наперебой предлагают, а этот сапог лежал в повозке около раненого в ногу,— и подняв его, медсестра показала на рваную от осколка дыру на голенище.

Ботинки оказались по ноге. Один из красноармейцев помог майору намотать обмотки. И когда он браво зашагал в новой, никогда не ношенной им обуви, все, кто увидел его, невольно улыбнулись: ноги у Зайцева в обмотках оказались совсем тоненькими и кривыми, как у кавалериста, а при ходьбе носки у него почему-то расходились в стороны. И если бы не петлицы со шпалами, Зайцев с его седой щетиной, мешочками под глазами, глубокими морщинами, перерезавшими лоб и спускавшимися от носа через подбородок, вполне мог сойти за старичка, почему-то вырядившегося в солдатское, поряд-

ком поношенное обмундирование. Впрочем, неотложные заботы, вся сложная тревожная обстановка, неясность дальнейших действий,— все это, вместе взятое, заставило майора как старшего по званию командира не думать о своем внешнем виде.

Когда рядом с умершим в дороге лейтенантом похоронили еще одного бойца, к майору подошла медсестра Нюра и рассказала, что теперь тяжелораненых тридцать семь человек, что кончаются бинты для смены повязок и медикаменты и что троим раненым необходима срочная эвакуация или, в крайнем случае, операция, а бутыли со спиртом и йодом разбились в дороге и содержимое их пролилось еще ночью. Словом, положение складывается почти катастрофическое, да ко всему этому неизвестно куда исчез военфельдшер, а Нюра самостоятельно много сделать просто не умеет, не может...

Зайцев в раздумье стал тереть щетину бороды. Что делать, как быть? И не с кем было посоветоваться. Но самое главное заключалось в том, что он постоянно ждал возвращения Киквадзе с конкретным приказом от старшего лейтенанта. Что майору может, к примеру, присоветовать Нюра — совсем девчонка, урывками дремавшая вот уже четвертые сутки, падающая от усталости, или какой совет дадут ассистенты майора, рядовые бойцы, хотя и проявившие незаурядную отвагу в минувших боях, не говоря о ездовых, у одного из которых совсем недавно пала вконец измученная лошадь. Десятки самых неотложных дел, забот обрушились теперь на майора — человека далеко не молодого, только сейчас познающего невероятную ответственность боевого командира.

ПОЕДИНОК

Когда Суворов и Невский выбрались на околицу, откуда до траншей было совсем близко, они остановились в нерешительности: тихо было впереди — ни стрельбы, ни голосов. И тогда они осторожно двинулись дальше, но едва подошли к первому ходу сообщения, как из потемок их остановил негромкий оклик:

— Стой, кто идет?— и вслед за этим клацнул затвор винтовки.

— Это мы, свои. Я — Суворов и со мной еще один,— Суворов на секунду замешкался, подбирая название Нев-

скому: бойцом его считать нельзя, а сказать, кто он такой, пуститься в длинные объяснения с часовым — значит вызвать со стороны часового подозрение, волокиту с выяснением личности Сашки. И Суворов добавил:— Он тоже из наших, со мной идет от обоза с ранеными. Понимаешь ли, мы отстали.

— Так вы раненые, что ли?— спросил часовой.

И тут Суворов окончательно запутался, стал плести какую-то околесицу насчет срочного приказа старшего лейтенанта, которому необходимо лично сделать важное сообщение. И неизвестно, чем бы закончилась эта путаная болтовня Суворова, если бы на их голоса не подошел по траншее еще кто-то, невидимый в темноте.

— В чем тут дело, Егоров? С кем разговариваешь?— спросил подошедший.

— Да вот, товарищ старший сержант, какие-то неизвестные подошли и требуют старшего лейтенанта, говорят, со срочным донесением, а толком ничего не могу понять, какая-то путаница, про обоз с ранеными что-то плетут,— ответил часовой.

— А ну, кто там, подойдите поближе,— сказал старший сержант.

Суворов шагнул вперед, на звук этого голоса за ним робко двинулся Сашка.

— Суворов я, товарищ старший сержант Косенко, я же тебя знаю, я же со взвода лейтенанта Пустовойта.

— А, Суворов, ну, спускайся в траншею, да не кольни ненароком штыком. А кто второй-то?

— Да тут такая история, что надо срочно доложить старшему лейтенанту.

— Я назначен командиром взвода вместо Хохлачева. Ранило его, а ты докладывай по форме: кто с тобой?

Ободренный встречей со старшим сержантом Косенко, с которым Суворов отступал с первых дней войны, и теперь назначенным командиром взвода, он оживился, голос его приобрел твердость, уверенность.

— Одним словом, парень этот не боец. Говорит, что к нам на фронт убежал прямо из тюрьмы. Я его лично задержал и старший лейтенант приказал мне доставить его к товарищу майору из трибунала. Но тут вышла незадача: пока я его вел к обозу, где находился майор Зайцев,— запоздал, а обоз-то и ушел. Вот теперь надо доложить об этом старшему лейтенанту. А парень этот вроде не шпион, воевать, говорит, бежал на фронт.— И подумав, как бы посчитав последние слова преждевременными, из-

лишними, добавил:— А все-таки лично считаю, что тут надо разобраться командованию, мое-то дело передать задержанного майору,— уже совершенно безразлично и равнодушно закончил он.

— Ну-ка, гражданин, подойди поближе, чего прячешься, помалкиваешь. Правильно докладывает боец Суворов?

И в один миг померк, погас слабенький лучик смутной надежды, до этого еще теплившийся, после слов Суворова, что все, мол, разъяснится, в случае чего Суворов может поддержать, а то и поручиться за Сашку, дадут ему в конце концов винтовку, пошлют на самое что ни на есть ответственное и опасное задание, чтобы проверить его в деле, а если потребуется, то в случае необходимости не пожалел бы он и своей жизни, как не жалеют ее во имя Родины, победы другие бойцы. Но то, что сказал напоследок о нем Суворов, было не только недоверием, но и прямым отречением. Словом, предал он его, Невского, хотя и спрашивал совсем недавно насчет умения стрелять. Но что сейчас ответить командиру взвода, какими словами убедить его в самом искреннем, заветном желании — стать бойцом?

— Ну, чего ты примолк? Скажи, что мне с тобой делать, куда тебя теперь девать?

И с каким-то отчаянием, за которым скрывались и мольба, и душевная мука, Сашка сказал:

— Да дайте мне винтовку, поверьте мне, проверьте хоть в чем...

Сказал он это негромко, но слова прозвучали с такой силой и убежденностью, что и старший сержант, и часовой Егоров, и Суворов даже стушевались.

— Ладно, оставайся до утра, а потом решим, как с тобой быть,— сказал старший сержант Косенко.— Я же не могу отменить приказ старшего лейтенанта, нашего командира, а его здесь нет. Разве ты не знаешь, Суворов, что во время грозы, как только она разыгралась, наши двинули к переправе, а мой взвод пока оставили сдерживать немца?

Воды на дне траншеи было по щиколотку, и, стараясь не сильно булькать ею, Косенко пошел проверять посты.

Небо теперь окончательно очистилось от туч, на нем появились звезды и ущербная луна, подул предрассветный промозглый ветерок. Суворов, с минуту подумав, сказал Егорову:

— Я, пожалуй, пойду за Косенко,— и совсем другим тоном, чем раньше, доверительнее, обратился к Невскому:—

Вот видишь, я же говорил, что все может образоваться. Только ты держись, не отлучайся никуда.

Отлучаться Сашке было совершенно некуда, и он снова воспрянул духом, а когда Суворов ушел, Егоров спросил:

— Ты, поди, голодный, на вот сухарь, погрызи, а утром нас покормят, чем бог послал.— Он достал из шинели сухарь и, протягивая его Невскому, пожаловался, что махорка в кисете во время дождя начисто подмокла, а то бы можно было осторожно курнуть из рукава.

— Фашисты утром наверняка полезут, но это не страшно. Только бы еще немного продержаться, пока наши на переправе окопаются, укрепятся.

Егоров, давно стоявший в траншее в одиночестве, даже обрадовался неожиданному собеседнику и теперь говорил не переставая, высказывая свои соображения насчет немцев, их планов, похвастался, что наши артиллеристы сумели подбить один танк, а второй ушел назад.

— Ну, а ты, неужто правда, прямо из тюрьмы сюда сбежал? Досталось, поди, по дороге?

— Да не так уж и досталось, а вот только обидно, что никто не верит мне. Да и сам теперь понимаю, что правильно делают. Ведь у меня никаких документов нет, а на войне попробуй поверь на слово такому, как я. А ведь могут и обратно меня в тюрьму. Как думаешь, могут?

— Знамо дело, запросто могут, и даже обязаны,— с твердой убежденностью подтвердил Егоров, от чего Невскому сразу же стало опять не по себе и он даже перестал грызть сухарь.

— Но только, думаю, оставят тебя здесь. Немного ведь нас, а если фашист попрет, то лишний боец как раз пригодится. Ты хоть стрелять-то умеешь?

— А как же, у нас в школе преподавали военное дело и я сдал все нормы значкистов ГТО, «Ворошиловский стрелок», «ПВХО», санитарное дело. Даже на районных соревнованиях грамоту по стрельбе получил.

Егоров все время одобрительно кивал головой, и когда Сашка перестал перечислять свои достоинства в военном деле, даже похвалил:

— Да тебя, парень, хоть командиром назначай,— но, сменив шутливость, пожалел Невского:— Только зря ты из тюрьмы рванул. И тебя ищут теперь, это уж как пить дать, и дома большая неприятность из-за этого, да и у нас, видишь, как тебя встретили. Что ни говори, а чужак ты пока для нас, не обижайся за это. Ведь

Родину защищать дело святое, но, по-моему, надо это делать с чистой совестью, а где она у тебя?

— Сам думал-передумал об этом всю дорогу. Многих я подвел: и себя, и конвоиров, да и дому нашему позор на весь город. Но что теперь поделаешь...

После ночной грозы утро занималось светлое, лучезарное, омытая зелень стала изумрудной, а небо такой пронзительной синевы, что, казалось, брось туда, вверх, в эту синь белый платок, и упадет он на землю таким же синим. Над леском поднялись белесые клочья тумана, оглушительно-радостно зазвенели птичьи голоса, обманутые этой тишиной, утренней свежестью разгорающегося предосеннего дня.

Пока оружие еще молчало, точно боялось нарушить этот волшебный утренний покой. Но оно было на боевом взводе, готовое в любую минуту извергнуть уничтожающий, беспощадный ливень смерти. И вот во имя такой, мирной тишины, во имя того, чтобы она всегда была такой, и должен был взвод старшего сержанта Косенко уничтожать затаившегося где-то у леска страшного и лютого врага.

Вскоре командир взвода появился в траншее и подошел к Егорову и Невскому, которые провели остаток ночи вместе, набросав под ноги досок и сухой соломы.

— Ну-ка, беглец, покажись на свет божий, какой ты есть?— обратился Косенко к Сашке, который смущенно вытянулся перед ним.

— Рост-то у тебя прямо гвардейский, а вот военного дела наверняка не знаешь, не призывался ведь?

— Как раз он и стрелять умеет,— сказал Егоров.

— Отставить разговоры, красноармеец Егоров. Я не тебя спрашиваю. Что за недисциплинированность!

— Я умею хорошо стрелять,— односложно ответил Невский.— В школе по военному делу у меня были хорошие отметки. Гранаты далеко бросаю.

Старший сержант ничего не ответил. Когда к разговаривающим подошли Суворов с Киквадзе, он, казалось, забыл о Невском.

— Товарищ старший сэржант,— стал докладывать Киквадзе,— я пришел от майора Зайцева. Нэмного заблудился и чуть не напоролся ночью на немцев, едва успел спрятаться.

— Где немцы?— встревожился Косенко.— Откуда ты шел? Немцы — вот они,— указал на лесок,— а ты шел от переправы в противоположном направлении.

— Совэршенно правильно, товарищ старший сэржант.

Я шел с востока на запад, от пэрэправы, и километрах в трех восточнее вашего расположения встретил немцев. У них бронэтранспортер и до батальона пэхоты. Так я считаю.

— А где же наши? Разве не встретил по дороге? Они ведь ночью ушли к переправе.

— Там, где я шел, кроме немцев, никого не замэтил. Наверное, они двигались где-то правее или левее. Вам письмо от майора. Там положэние тяжелое. Майор просил передать старшему лейтенанту, что продукты кончаются, раненых надо срочно увозить в тыл. Майор не знает, как быть дальше.

В это время с запада над леском появился немецкий самолет-корректировщик «рама». Пролетая чуть южнее, развернулся над поселком, сделал круг и повернул на восток.

— Теперь жди бомбежки, раз эта сучка появилась,— сказал Егоров.— Обязательно бомбить станут.

— Отставить панические прогнозы,— сердито оборвал его Косенко.— Лучше оружие свое проверь.

— Все ясно,— обратился он затем к Киквадзе,— значит, немец обходит нас и направляется к переправе, отрезает нам туда дорогу. Ты сильно устал?

— Нэмножко есть, товарищ старший сэржант.

— Тогда слушай мой приказ: бери вот этого гражданина,— указал он на Сашку,— и отведешь его к майору на переправу. Раз к нам сумел дойти, дойдешь и обратно. И передай старшему лейтенанту, что будем сдерживать немца, пока есть возможность. А парень этот не наш, говорит, что прямо из тюрьмы сюда подался. Кто знает, что он за человек. Пусть майор сам решает, как с ним быть.

И неизвестно, как бы дальше повернулась судьба Невского, какое решение принял бы по отношению к нему майор из трибунала и вообще смогли ли бы они дойти туда. На войне бывает столько неожиданностей, таких невероятных ситуаций, возникающих иногда в течение буквально считанных минут, что предугадать, предвидеть их никто не в состоянии, хотя, казалось бы, все предстоящие мероприятия не раз продуманы до мельчайших подробностей и заблаговременно для них предусмотрены различные запасные варианты.

Так произошло и на этот раз со взводом старшего сержанта Косенко, который должен был во что бы то ни стало задержать продвижение немцев к переправе, пока

основная часть отряда не организует за рекой прочной обороны и не соединится с кем-то из соседей, не отправит в тыл раненых.

СТОЯТЬ НАСМЕРТЬ

Из-за крайнего домика появился боец. По тому, как он торопливо и вместе с тем напряженно шагал, было видно, что позади у бойца был долгий путь. Буквально свалившись в траншею, он спросил:

— Где командир? У меня срочное донесение.

— Я командир. Докладывай.

Боец тяжело поднялся, опираясь на винтовку.

— Докладывает боец Шацкий. Командир полка приказал отвлечь на себя немцев. Фрицы не дошли до речки и повернули назад, в эту сторону, к поселку. На переправе застряли наши пушки, не могут вытянуть на берег, юзом скатываются. Но теперь, наверно, уже подняли. Обоз отправили. Разведка ищет связь с соседями,— все это Шацкий выложил на одном дыхании, избежав подробностей, без собственных комментариев.

Выслушав доклад Шацкого, Косенко с минуту размышлял, оценивая создавшуюся обстановку и принимая новое решение. Его порадовало в докладе Шацкого название отряда гордым, сохранившимся словом «полк», хотя от него оставался небольшой батальон, и то, что бывалый солдат в нескольких словах изложил главное. Значит, немецкий корректировщик успел сообщить о том, что населенный пункт обороняет какая-то часть русских. Летчик видел, конечно, и подбитый танк и, очевидно, решил, что у русских замаскирована артиллерия, да и внушительной длины траншея не пустует; сверху он мог разглядеть бойцов и пулеметные гнезда. Теперь выходило, что головной немецкий отряд изменил свое направление по шоссе, повернул назад, чтобы окружить и уничтожить эту часть, которую и с севера, и с юга уже обтекают танковые и мотострелковые дивизии немецких войск. В стратегический план старшего лейтенанта Соколова как раз и входило задержать как можно подольше противника у селения, дать возможность основным взводам и обозу, отойдя, укрепиться на новом, более удобном рубеже. Неясным оставалось только, какое количество немцев подходило с востока, с тыла, и сильно тревожил лесок, в котором несомненно были и танки, и пехота врага. Оборону предстояло держать почти круговую, для этого Косенко

решил выслать навстречу приближавшимся фашистам два отделения, которые, заняв оборону, будут отражать наступление.

— Всех командиров отделений ко мне,— приказал он.

С этого времени в обострившемся сознании Косенко включился метроном, отсчитывающий самые последние, самые решительные минуты, отделяющие его взвод от той грани, за которой неотвратимо наступает победа или смерть. Но чтобы победить, требовались, кроме беззаветной отваги, какая-то хитрость, принятие такого решения, которое смешало бы все карты противника и дало в руки его бойцам беспроигрышный козырь. А такого решения пока не приходило в голову. Правда, было одно малосущественное превосходство: взвод занимал оборону в траншее полного профиля, а оккупанты наступали по совершенно открытой, да к тому же заминированной с западной части населенного пункта местности. И с востока, откуда повернул неожиданно отряд врага с бронетранспортером, взвод прикрывали дома, разные строения, а наступающие опять же шли по ровной, как стол, местности. И пулеметы с достаточным количеством патронов, запас гранат, а самое главное, высокий моральный дух красноармейцев, закаленных, обстрелянных, готовых стоять насмерть, тоже входили в это преимущество как основной, решающий фактор победы. И все же для полной победы не хватало еще чего-то, о чем сейчас лихорадочно думал командир.

Когда все командиры отделений собрались, старший сержант спокойно, хотя все нутро его походило на натянутую звенящую струну, заговорил:

— Слушайте, товарищи, обстановку, задачу и приказ. Немец повернул, не дойдя до переправы, в нашу сторону. В лесочке,— показал он на гряду деревьев,— тоже немцы, видать, с танками. Наша задача: отразить наступление, продержаться до темноты, те, кто останутся, мелкими группами уходят к полку. Приказываю отделениям Седова и Гарифуллина занять оборону в восточной части под прикрытием строений, взять станковый пулемет. Отделения Сегиды и Ступакова остаются в траншее. Каждому бойцу разобрать гранаты.

И тут внезапно пришло, озарило Косенко то, что он лихорадочно искал. Он сразу как-то даже посветлел лицом.

— И еще вот что, Седов и Гарифуллин,— заговорил он оживленно,— ты, Гарифуллин, с отделением займешь

южную часть околицы и, как только немцы подойдут поближе, по моей команде откроешь с фланга сильный огонь из пулемета и винтовок. Пусть фашисты отвлекут все свои силы на тебя, подумают, что это наш главный очаг сопротивления. Патронов не жалеть. А ты, Седов, в это время опять же по моей команде сделаешь бросок и ударишь в левый фланг. В это время отделения Ступакова и Сегиды подоспеют на правый фланг и помогут гранатами. В траншеях остаются пулеметчики, и если из леска выйдут немцы с танками, это не опасно: предполье хорошо заминировано, отбить атаки пехоты сумеем. Все ясно? Тогда — по местам!

— Нам куда?— спросил Киквадзе, кивнув на Невского.— Учти, командир, я знамя охраняю. Если что, ты отвечаешь.

— Вот же незадача с этим парнем. Может, рискнем оставить? Пусть покажет себя в бою. Как считаешь, товарищ Киквадзе?

— Считаю — пусть,— ответил Киквадзе,— только мне приказано вернуться назад. Нэ хочу в трибунал.

— А мне как?— спросил Шацкий.— Мне тоже надо к своим, я тоже приказ нарушаю.

— Отставить разговоры! Оба поступаете в мое распоряжение, выполняйте по уставу последнее приказание. Сейчас каждый из вас будет стоить целого взвода. Ты, Сандро, лучший разведчик полка, и ты, бывший пограничник Шацкий, неужели не понимаете обстановки? Суворов,— обратился он к стоявшему рядом с Невским бойцу,— ты задержал Невского, ты и бери его под свою ответственность, найди ему винтовку, возьмите гранаты — и бегом на левый фланг траншеи.

— Есть, товарищ старший сержант,— как показалось Невскому, без всяких эмоций ответил Суворов, хотя у Сашки все ликовало: порозовели даже щеки, не знал он, что делать от восторга с руками, которые просто летали, делали бессмысленные движения, ища своего скорейшего применения.

— Большое вам спасибо,— только и смог он сказать, одновременно обращаясь к Косенко и Суворову.

— На всякий случай я запишу твои данные, а то и родные не узнают, где могилка твоя, как поется в песне.

— Фамилия моя Невский, Александр Николаевич, одна тысяча девятьсот двадцать третьего года рождения, город Нижний Нежинск, улица Буденного, пять,— на едином ды-

хании продиктовал Сашка едва успевавшему записать эти данные старшему сержанту.

— Вот теперь все. Воюй получше,— сказал Косенко, укладывая в полевую сумку блокнот.

Когда они шли по траншее на левый фланг, Суворов, как старший, завел назидательный командирский разговор:

— Теперь, главное, не робей, держись, слушай мои команды. Из траншеи без надобности не высовывайся, а то вон какой ты каланча, вмиг могут в башку пулю влепить. Одеть бы тебя в форму, да где на такого дылду подберешь обмундирование. Но ничего, отобьем фашиста, оденем по форме.

Суворову явно льстила его новая, правда, неофициальная должность старшего над подчиненным-новичком, который теперь обязан был беспрекословно выполнять все его распоряжения и команды, и в голосе Суворова появились строгие нотки:

— Перво-наперво — проверить винтовку,— Суворов взял ее из Сашкиных рук, оттянул затвор, вытащил неполную обойму, заглянул в патронник, убедившись, что она не заряжена, с какой-то показной лихостью клацнул затвором, поставив винтовку на боевой взвод, и нажал спусковой крючок. Боек клацнул вхолостую.

— Следовательно,— продолжал он тем же тоном командира, который проводит занятия с новобранцами,— мы видим, что оружие исправно, и теперь вставляем в него новую полную обойму из подсумка. Прицельную рамку устанавливаем на пятьдесят метров, ставим оружие на боевой взвод и затем на предохранитель. Ясно? Огонь открываем только по моей команде. Повторить!

И Невский добросовестно, точно отвечая школьному учителю, повторил наставление своего командира, а тот, сделав сосредоточенно-строгое лицо, будто принимая экзамен, выслушал и снисходительно бросил:

— Для начала, боец Невский, сойдет и такой гражданский ответ. Вот послужишь с мое, повоюешь, тогда, может, настоящим воином Красной Армии станешь. Вот товарищ комвзвода сейчас говорил, что каждый боец стоит целого взвода. Тебя, салагу, он, конечно, в виду не имел. От тебя в бою что прежде всего требуется? Перво-наперво выдержка и точный прицельный огонь по противнику. Промазал — выходит, подпустил фашиста, который может убить тебя или же, к примеру, меня. Попал ему в башку или в брюхо — значит, молодец, бей

другого, третьего. На войне один главный закон для бойца — кто быстрее. Понял?

Суворов, может быть, долго бы еще вел эту поучительную беседу. Солнце уже поднялось довольно высоко, становилось жарко, вокруг было тихо, спокойно. Над леском поднялись одна за другой притускленные солнечным светом, но отчетливо видные, с промежутками через несколько секунд, три зеленые ракеты. И буквально через две-три секунды такие ракеты поднялись слева и, казалось, несколько медленнее, чем первые над леском, опали. И едва они, не долетая до земли, растаяли в воздухе, справа, где-то за шоссе,— новая серия зеленых ракет.

— Ты гляди, как волков нас обкладывают с трех сторон. Ну, Невский, держись, брат, дело хреновое складывается, тут и попу теперь ясно,— сказал Суворов,— в кольцо захватывает, сука...

Через какую-то минуту-две Невский увидел, как на западе, от опушки, где поднимались первые ракеты, появилось что-то бурое, бесформенное. Оно двигалось к траншеям в беспорядке, совсем не похожее ни на людей, ни на машины, это было что-то непонятное и оттого пугающее.

— Суворов, гляди!— крикнул Сашка.— Что это там?

Суворов стал вглядываться в непонятную массу, теперь все расширявшуюся и приближавшуюся к предполью.

— Да это же коровы, целое стадо,— ахнул Невский.— К чему бы это, а, Суворов?

— Ни хрена не понимаю. Неужто коровы пошли в атаку?

А стадо, теперь уже ясно различимое, неслось в каком-то страхе, точно животные взбесились, у многих из них были подняты хвосты, было что-то совершенно непонятное, жуткое.

— Да он, гад, фашист, на минное поле коров гонит. Ах ты сука, ах ты падла!

Обезумевшее стадо достигло минного поля. Раздался первый взрыв, потом другой, коровы смешались, передние метнулись было в стороны, сзади, с опушки, поверх их голов раздались густые пулеметные очереди, животные, то скучиваясь, то растекаясь, теперь метались по заминированному полю, то и дело подрываясь, расчищая тем самым в нем проход.

Невский оцепенел, почувствовал, как на голове у него зашевелились волосы.

И гибнувшее стадо поразило его, совсем гражданского необстрелянного человека. В городке, где проходила его

ребячья жизнь, пожалуй, и в каждом дворе была корова-кормилица, считавшаяся чем-то вроде члена семьи, привычная, всегда в летнюю пору выпасов торопящаяся вечерами к дому, чтобы опростать наполненное тяжелое вымя в звонкий подойник.

Были коровы в стаде разные — пестрые, рыжие, с самыми разными рогами — то как ухват, то агрессивно ровными, острыми, а то вовсе комолые. И вот теперь такие же коровы подрывались на минах, чтобы очистить дорогу танкам и пехоте. Невский видел, как одну из них, попавшую копытом на смертоносный взорвавшийся заряд, подбросило вверх с вырванным животом, с блеснувшими в воздухе длинными светлыми кишками. Выросший и воспитанный в глубоком уважении к этому всегда спокойно-доверчивому животному, которому и цены-то не было, Сашка, увидев гибель стада, дико закричал:

— Да что же они делают, гады? Эх, гады-звери! Суворов, да ты погляди, что творится-то!

— Ты гляди,— отвечал тот,— я уже кое-чего наглядел-ся из-за этих подлюк.

Подбежал командир отделения Сегида:

— Чего глядите-любуетесь, не стреляете? Ждете, пока коровки все поле для фрица разминируют? А ну — огонь!

Сержант сам тут же приложился к прикладу и стал стрелять в животных, которые все метались перед траншеей, взрываясь на минах, редея, устилая трупами все пространство.

Невский, наконец, понял смысл приказа сержанта и сделал свой первый выстрел, и не в фашиста, о чем днем и ночью мечтал, а в молодую красно-пеструю нетель, и когда она, сраженная пулей, стала заваливаться набок, Сашка ясно различил на ее холке багровый, кровоточащий шрам от раскаленного шомпола или другого металлического предмета, и теперь понял, что животные неслись на них обезумевшими от боли, и еще раз поразился этой совершенно нечеловеческой жестокой выдумке фашистов. Стадо было наше, русское, колхозное, его, видать, почему-то не успели перегнать на восток, а может, захватили в леске, где пастухи по дороге выпасали его.

Когда смертельно раненный бык сначала опустился на подогнувшиеся передние ноги, а потом, несколько раз мотнув головой, завалился набок, на какие-то мгновения все стихло, с запада, держа курс прямо на селение, вынырнули «Хейнкели-3» и сбросили свой бомбовый груз. Вслед за этим из леска выползли три немецких танка,

справа полетели снаряды и мины, и все смешалось в огненном смерче. Это был хорошо согласованный артналет на позиции взвода сразу с двух сторон, рассчитанный и на его подавление, и на то, чтобы ошеломить бойцов, вызвать среди них панику. Длился он минуты две-три по площади, ориентиром в которой служили главным образом дома. Танки шли один за другим по трупам животных, подорвавшихся на минах, и расчет фашистов был ясен: там, где коровы подорвались, путь для танков был безопасен. Танки шли не по прямой, а часто маневрировали, выбирая на предполье именно такие места. Но расчет их оказался ошибочным. Когда до траншеи оставалось не больше тридцати—сорока метров, Невский увидел, как головной танк дрогнул от взрыва. У него с каким-то бутылочным звоном лязгнула левая гусеница, и, крутнувшись на месте, стальная коробка замерла, повернувшись к траншее боком.

— Сашка,— крикнул Суворов,— сейчас немцы полезут из танка, не зевай!

Невский прицелился в башню танка, на которой вскоре откинулась крышка люка, и в нем появился танкист. Торопливо карабкаясь, он ступил уже на броню, готовясь спрыгнуть, и в это время раздалось сразу несколько выстрелов. Невский посчитал, что это пуля именно из его винтовки попала в фашиста, и чуть не закричал от радости. Два других танка остановились и попятились назад, к опушке, а в это время с восточной окраины послышалась пулеметная стрельба. Туда подошли немцы, и поэтому артналет на деревню так быстро прекратился.

Но как только, пятясь, танки достигли опушки, на взвод снова полетели мины и снаряды.

Находившиеся где-то справа от селения артиллерийская и минометная батареи теперь стали стрелять уже не по квадрату, а сосредоточеннее, прицельнее, затаившийся где-то вражеский корректировщик нацеливал огонь все ближе и точнее, взяв в вилку траншею, и взвод понес первые потери: тяжело ранило командира отделения Сегиду и почти под прямым попаданием мины погиб Шацкий.

Комвзвода Косенко подошел по траншее к тому месту, где находились Суворов, Невский и немного в стороне от них Киквадзе.

— Надо срочно подавить батарею. Кто пойдет?

— Давай, я пойду,— сразу же отозвался Киквадзе.— Пусть со мной идет этот длинный,— показал он на Сашку.— Он говорит, что далэко гранаты умеет бросать. Пусть покажет.

— Не возражаю,— ответил Косенко.— Возьмите побольше гранат и ручной пулемет.

— Возьми, старший сержант, мой партбилэт,— протягивая Косенко красную книжицу, сказал Киквадзе.— Это на всякий случай, как у разведчиков всэгда дэлается, на всякий случай.

Сашке дали ремень с двумя подсумками патронов, гранаты, которые он разместил по карманам, и две засунул за пояс.

— Э-э, так не пойдет,— увидев эту экипировку, сказал Косенко,— ты же не на прогулку идешь, по-пластунски придется ползти, все растеряешь.

Гранаты уложили в гранатные сумки, предварительно вставив запалы, Киквадзе с Невским вышли в направлении, откуда отчетливо слышались выстрелы пушек и минометов.

Шли быстро, хотя довольно тяжелый ручной пулемет «дегтярь» сдерживал ход. Держались на всякий случай кустарниковых островков, канавок, впадинок, всего, что могло укрыть при неожиданной встрече с врагом. Киквадзе, прислушавшись к очередному орудийному выстрелу и последовавшему затем взрыву снаряда в поселке, что-то подсчитал в уме и сказал:

— Батарея совсем близко, не больше двух километров. Только как незаметно к ней подойти поближе? Вот сейчас будем делать осторожную разведку.

Когда прошли еще с полкилометра, увидели в жарком, колеблющемся до самого горизонта мареве небольшую группу каких-то строений. Теплые струи воздуха, поднимавшиеся от влажной после грозы земли, делали эти строения расплывчатыми, будто дрожащими и миражными. Оттуда, от этих строений, немцы вели огонь, и где-то, должно быть, на пути наших бойцов, находился вражеский разведчик-корректировщик, дающий по телефону поправки батарее, нацеливая ее на траншею. Когда прошли еще немного, Киквадзе вдруг приказал Сашке лечь и сам распластался среди бурьяна.

— Вот он, рябчик нэхороший, развэдчик. Видишь дэрэво?

Впереди возвышался осокорь с сухой вершиной, и на его толстых ветках сидел немец с биноклем. Киквадзе еще раз внимательно осмотрелся и обратился к Сашке:

— Снимай фрица, а я буду смотреть, может, где-то другой. Его буду снимать.

Невский не сразу понял иносказательное значение глагола «снимать», а когда стало ясно, что необходимо

застрелить корректировщика, заторопился, дослал в ствол патрон и стал целиться, забыв о прицельной раме. Киквадзе, лежа рядом с ним, прикинул на глаз расстояние и, осторожно тронув Невского за плечо, установил прицел:

— Нэ торопись, целься лучше.

От гулко застучавшего сердца, от волнения Невский даже не почувствовал толчка в плечо от выстрела. Немец схватился за какой-то тонкий сучок, сверкнул на солнце стеклами выпавший из его рук бинокль, телефонная трубка повисла на ветке, закачалась, и, ломая сучья, немец рухнул на землю.

Это был первый сраженный Сашкой враг, правда, не в открытом бою, но ведь этот, первый, был не менее опасен, чем какой-нибудь другой, идущий в атаку. Он нацеливал с дерева минометы и пушки на оборонявшийся взвод. Пусть после этого фрицы палят в белый свет, как в копеечку.

От переполнявших его волнения и гордости Сашка хотел вскочить и подбежать к убитому, чтобы поглядеть, какой он, вражина, запомнить навсегда его лицо, фигуру. Но Киквадзе не разделял этого восторга, почему-то совсем равнодушный, занятый какой-то мыслью, тронул Сашку за плечо и стал быстро отползать в сторону, хоронясь за бурьяном и веселыми, с синими цветочками, стеблями цикория. Сашка, еще не поняв его замысла, недоуменно пополз рядом. И едва они отползли метров на пять, как откуда-то из-за дерева стремительно, испуганные Сашкиным выстрелом, поднялись одновременно двое немцев. Один из них опустился на колено и выстрелил из этого положения наугад в сторону Киквадзе и Невского, второй нагнулся над убитым Сашкой корректировщиком. И сразу же над ухом Невского грохнул выстрел Киквадзе. Стрелявший с колена немец судорожным рывком схватился за лицо, повалился, а второй успел отпрыгнуть за ствол дерева, после чего над головой бойцов просвистела автоматная очередь.

— Прозэвал ты второго,— бросил Невскому Сандро и, откатываясь в сторону, приказал:— Лежи, не шэвэлись!

И тут, к явному изумлению Сашки, Киквадзе стал выделывать смертельно опасные номера. Вот он резко, пружинисто вскочил, бросился зигзагами в сторону и, сделав несколько стремительных прыжков, покатился по траве. Немец пустил в его сторону очередь, осмотрел место, куда стрелял, и в это мгновение Сандро, будто дразня немца, поднялся во весь рост и затем, казалось,

смертельно раненный, упал в бурьян. Фашист застрочил туда, однако Киквадзе был уже метрах в десяти впереди и правее этого места и вдруг негромко крикнул Сашке:

— Сейчас стреляй!

Невский потерял Сандро из виду. Мгновенно взвел затвор, прицелился в основание ствола осокоря, выжидая, когда немец появится из-за него. Очевидно, решив, что попал в русского солдата, фашист осторожно вышел из-за дерева, и Сашка нажал на спусковой крючок.

«Два! Теперь уже два фашиста!— с гордостью подумал он.— Ведь если каждый из нас будет вот так бить их, сволочуг,— войне, считай, скоро конец»,— размышляя, радовался Невский, позабыв о том, как ловко околпачил Сандро этого последнего фрица, как, рискуя жизнью, выманил его из-за дерева на выстрел. Нет, не думал сейчас Сашка об этом, ему казалось, что это только его меткий выстрел уложил фашиста.

Подошел Киквадзе, потный, тяжело дыша, отряхивая с гимнастерки и шаровар землю, листки, мусор. Оглядев гордого Невского, ожидающего похвалы старшего товарища, он вдруг весело засмеялся, обнажив ослепительной белизны ровный ряд зубов:

— Трех рябчиков сняли! Молодцы мы с тобой, а?

И этот чистый, заразительный, идущий от самой души смех невольно передался Сашке, и он впервые за последнее время сначала улыбнулся, а потом, поддавшись бурной радости Сандро, тоже залился смехом:

— Как его шарахнул, он сразу рога в землю. А второго-то прямо в башку,— вытирая выступившие от смеха слезы, говорил Невский,— а ты, товарищ Киквадзе, ну прямо удивительно, как немца обманул, как в цирке, честное слово!

— Это, дорогой, еще начало,— посерьезнев, сказал Сандро,— теперь жди новых рябчиков сюда. Всполошились фрицы, вот-вот пожалуют. Поэтому давай сматываться.— И привычно добавил:— На всякий случай. К батарее надо, главную задачу срочно выполнять надо.

Сандро поднял ручной пулемет. Сашка закинул за плечо винтовку, поправил гранатные сумки, и когда оба были готовы двинуться к вражеским орудиям и минометам, снова, как и вчера, от видневшихся вдалеке строений показались два мотоцикла, которые держали ориентир на дерево, где внезапно смолкли корректировщики.

— Ты умеешь ездить на мотоциклэ?— спросил Сандро и, поняв, что его вопрос требует расшифровки, пояснил:—

Если этих снимем,— кивнул на пыливших теперь уже невдалеке немецких мотоциклистов,— к пушкам быстрее добэремся.

Сашка не совсем уверенно ответил, что ездил когда-то с ребятами, но чуть было не сшиб однажды человека.

— Ай, дорогой, ай, хороший человек!— обрадовался Киквадзе.— Значит, ложись у дерева, стреляй так же точно, как вот сейчас, а я с фланга их буду снимать. Только не искалечь один мотоцикл, на нем мы быстро к пушкам доберемся.

Сандро с пулеметом ящерицей нырнул в заросли бурьяна, а Невский занял позицию около осокоря. Над ним, слегка покачиваясь, висела телефонная трубка, из которой доносился хорошо слышный, монотонный, непривычно картавый голос, повторявший какой-то повелительный вопрос, в котором Невский разобрал слово «варум».

Между тем мотоциклисты стали отчетливо видны — все четверо в касках, у сидевших в колясках впереди торчали, точно карандаши, пулеметы. Сашка наметил ориентир — невысокое возвышение, густо поросшее голубым островком цикория. Как только мотоциклисты перевалят через этот бугорок, он выстрелит сначала в сидящего за рулем, а затем сразу в другого, в коляске у пулемета. Только бы не промахнуться, иначе от двух пулеметов несдобровать. Руки вдруг предательски затряслись, обильный пот защипал глаза, и, когда он выстрелил в фашиста, сидевшего за рулем, тот не шелохнулся и продолжал, не снижая скорости, вести мотоцикл: промах! И от этого вдруг внезапно исчезли и страх, и охватившая минуту назад Невского предательская дрожь в руках, уступив место четкому сосредоточению, заставив сжаться в пружину каждый мускул. Вторым выстрелом Сашка ранил немца, который вскинул от руля руку, мотоцикл вильнул и, став к Невскому боком, остановился. Второй немец стал разворачивать его за руль, чтобы направить пулемет на дерево. Сашка торопливо перезарядил винтовку, прицелился, нажал спусковой крючок, но вместо выстрела раздался щелчок бойка. И пока он переворачивался с живота на бок, чтобы достать из подсумка обойму, немцы скрылись за мотоциклом, а из второго подоспевшего мотоцикла плеснула пулеметная очередь, осыпав Сашку ветками, листвой и корой дерева, отщепленными пулями. Пулемет Сандро все еще молчал. Добросить до немцев гранату Невский не мог, мотоцикл был слишком далеко, а тот,

что был вторым, между тем разворачивался в обратный путь. Сашка нащупал наконец между гранатными сумками патронный подсумок, загнал новую обойму, выстрелил, и снова — промах. Послал вторую пулю. В движении мотоцикла что-то на короткое мгновение изменилось, но затем, выбросив из выхлопной трубы синюю струю газа, он рванул вперед, едва не встав на дыбы. Посланные затем вдогонку еще три пули не причинили его экипажу вреда, и, делая зигзаги с сильным креном то вправо, то влево, мотоцикл, казалось, вырвался из-под обстрела.

«Что теперь будет, что я натворил?— заряжая винтовку новой обоймой, в отчаянии корил себя Невский.— Ведь Сандро так надеялся, даже похвалил мимоходом, просил быть метким...»

Теперь Сашка стал присматриваться к первому мотоциклу, за которым затаились оставшиеся фашисты: что они делают, почему не стреляют? «Не может быть, что ни у одного из них нет оружия. А может, они уже смотались потихоньку, по-пластунски, бросив машину с пулеметом, может, решили, что встретил их не только я, но и другие русские бойцы?— размышлял Невский.— Надо проверить...»

И в это время слева впереди раздались короткие пулеметные очереди и вслед за этим разорвалась граната. «Дает жизни Сандро!»— крикнул радостно Сашка. Он хотел подняться с земли, но, к своему счастью, не успел: из-под коляски мотоцикла совсем близко от него веером прошла по земле автоматная очередь, подняв фонтанчики пыли. Невский юзом, так как ему мешали гранатные сумки, отполз за спасительный ствол дерева, затаился, тревожась больше не за себя, а за Сандро, который был, конечно, уверен, что с мотоциклистами первой машины Сашка расправился. Поэтому он мог идти теперь безопасно, во весь рост, и стать мишенью фашистов, залегших за вторым мотоциклом.

Батарея снова возобновила обстрел траншей, и Невский слышал шелест, похожий на змеиное шипенье, снарядов и мин, пролетавших над головой. Значит, опять гибнут бойцы, ждущие, что Невский и Киквадзе смогут как-то подавить вражеских артиллеристов и минометчиков. Ему представилось, как падали сраженные бойцы, как сгорали, рушились, умирали дома, так любовно построенные их хозяевами, украшаемые палисадниками под свои житейские радости и нужды; дома, где, подобно деревьям, вы-

растали, сменяя друг друга, поколения русских людей, занятых своей мирной работой.

В это время с мотоциклом стало происходить что-то непонятное: будто сам собой он сместился с прежнего места, стал постепенно разворачиваться, и потом в короткое мгновение на сиденье запрыгнул немец в каске, а второй, перевалившись в коляску, почему-то обнял водителя за шею. Не успел Невский как следует прицелиться в них, как машина сразу же рванула с места, как и та, которую должен был подбить Киквадзе. Мотоцикл, набирая скорость, заколесил зигзагами, удаляясь, не приняв поединка. Посланные вслед пули пошли мимо. Досадливо чертыхнувшись, Сашка вскочил на ноги и изо всех сил крикнул:

— Сандро, где ты?

Прислушался и, не получив ответа, побежал к тому месту, откуда услышал выстрелы и взрыв гранаты.

Сандро лежал на спине с желтым восковым лицом, на котором от мучительной боли чернели губы, почти сливаясь цветом с его усиками. У Сашки замерцало в глазах, к горлу подступила тошнота, когда он оказался рядом с Киквадзе. Из порванного кровавого рукава торчала перебитая оголенная розоватая кость. Бурые пятна крови были на земле, на щеке, покрывали здоровую руку; видать, Сандро испачкался в собственной крови, пытаясь как-то поправить здоровой рукой перебитую.

— Сандро,— позвал сразу осипшим голосом Невский,— вот беда-то, а? Ты меня слышишь?

Киквадзе открыл веки, глянул на Сашку будто откуда-то из далекого потустороннего мира, и в темных его глазах читались и невыносимая мука, и нечеловеческая тоска. Разлепив спекшиеся губы, он прохрипел:

— Поищи у тех убитых бинты, сбегай, дорогой,— и закрыл глаза.

Сашка, потрясенный таким страшным в своей обнаженности ранением Киквадзе, сломя голову бросился к дереву, где лежали убитые немцы. Превозмогая отвращение, он перевернул одного из них, уже начинающего коченеть, с засохшей струйкой крови на виске, и стал лихорадочно шарить у него по карманам кителя, брюк, выбросил губную гармошку, небольшую круглую металлическую коробку, коричневый продолговатый кошелек и грязный сопливый носовой платок. Бинтов у немца не оказалось. Не нашарил он их и у двух других, лежавших близко друг к другу вверх лицами, по которым уже ползали зеленые мухи и муравьи, и тут увидел солдатский ранец, покрытый рыжей коровьей шку-

рой, лежащий у ствола ракиты. В нем оказались бинты, какие-то таблетки, две плитки шоколада и смятая рубашка. Сначала Невский осторожно, боясь разбередить рану, разрезал на Сандро до плеча гимнастерку, приподнял руку, которая ниже раны повисла на сухожилиях.

— Режь руку,— прошептал Сандро,— нэ бойся.

Лицо его покрылось липким потом.

— Ой, не смогу. Как это—резать живому человеку, может, прирастет еще,— бормотал Невский.— Мы ее сейчас перевяжем,— назвал он себя почему-то во множественном числе, как это делал знакомый врач, делавший Сашке перевязки на пятке, пропоротой бутылочным стеклом, на которое однажды он наступил на реке.— Мы сейчас жгут наложим, все в полном ажуре будет, не беспокойся, товарищ Сандро.

— Слушай, режь быстрее, бери пулемет, гранаты, беги на батарею,— тяжело, делая паузы после каждой фразы, говорил Сандро,— мне теперь умирать.

Из перебитой артерии равномерными толчками выходила кровь, и Сашка подумал, что это утомившееся и ожесточенное от войны сердце Сандро гонит и гонит кровь, и если ее не остановить жгутом, Киквадзе умрет. Невский будто не слышал приказа своего товарища как можно быстрее идти к фашистской батарее, чтобы гранатами и из пулемета побить, уничтожить ее расчеты. Для него сейчас не существовало ничего на свете важнее, чем спасти своего боевого товарища, которого, как он считал, так преступно подвел, промазав в мотоциклистов, дав им возможность удрать назад.

Когда свернутым тугим жгутом из бинта он остановил, наконец, кровь, Киквадзе опять, напрягая силы, проговорил:

— Ты беги быстрее, выполняй приказ, слышишь? Оставь меня... Осторожнее будь, хорошо маскируйся. Сначала гранатами... Беги!

Прикрепив к стволу сошки «дегтяря», поправив гранатные сумки, Невский не решался сказать Сандро «прощай», решив, что этим он невольно заставит его подумать, что собирается бросить, не надеется, мол, что раненый выживет, и, нагнувшись к его лицу, придав голосу беспечную бодрость, сказал:

— Ты, товарищ Киквадзе, немного потерпи, подожди, я их быстренько заделаю, гадов, вернусь, и тогда — к своим.

Не чувствуя тяжести пулемета, с обуявшем его теперь боевым нетерпением, трусцой направился к строениям,

откуда все били с определенными паузами орудия и минометы врага.

Приближаясь к домикам с постройками и огородами, Невский вдруг с беспощадной ясностью понял, что сейчас вот, через несколько минут, он перешагнет невидимый рубеж между всем прошлым и будущим, и что от его умения, ловкости зависит успех выполнения задачи огромной ответственности, которую поручил ему выполнить не только старший сержант Косенко, а вся Красная Армия, вся страна, что, разгромив один на один батарею, он спасет своих боевых товарищей, на какое-то, пусть хотя бы и совсем небольшое, время приблизит общую победу над врагом.

Останется ли он сам при этом жив, Невский не думал. Надо было во что бы то ни стало забросать прислугу у пушек и минометов гранатами (их у него было шесть штук), а потом добить из пулемета.

Но как незаметно приблизиться на бросок, чтобы гранаты рвались точнее, поражая фашистов? Сашка внимательно осмотрел все подступы к домам. За крайним, крытым черепицей, стояли три автомашины. Пушки были выдвинуты на прямую наводку, а левее он увидел минометный расчет с двумя поднятыми стволами. Управиться одному с таким количеством пушек и пулеметов было просто невозможно. Кто знает, сколько немцев было еще в домах, в оградах? Но медлить было нельзя ни минуты. Ведь каждый снаряд и мина рвались там, где оборонялся теперь его взвод, а где-то на половине пути туда лежал тяжело раненный Киквадзе. Жив ли он еще? Ведь ему была необходима срочная Сашкина помощь. И Невский стал все ближе, огородами, переползать к орудиям.

Наконец он выбрал позицию на плоской, покрытой дерном крыше невысокой постройки — не то сарайчика, не то бани. Отсюда был довольно широкий обзор для стрельбы из пулемета; раздвинув сошки «дегтяря», он вытащил из сумок гранаты, уложил их перед собой, еще раз осмотрелся и затем бросил одну за другой две РГД на орудия. Взрыв одной из них поразил заряжающего, который, будто переломившись, упал на станину лафета. Вторая граната, брошенная к соседней пушке, не причинила никому вреда, так как упала, взорвавшись в стороне от орудийного расчета. От взрывов возникла паника. Артиллеристы суетливо забегали около орудий, кто-то из них, не сориентировавшись, откуда прилетели гранаты, дал длинную очередь из автомата в ту сторону, куда были направлены орудийные стволы. Невский, распластавшись у

пулемета среди стеблей лебеды, выросшей из дерна, дал первую очередь по артиллеристам. Пули с визгом рикошетили от стали стволов и лафетов. Один из артиллеристов, поджарый, без мундирчика, в рубашке с засученными рукавами, выскочил из-за орудия, направляясь к домам, и, точно наткнувшись на что-то твердое, невидимое, схватился руками за лицо, рухнул на землю, прошитый свинцовой струей. Поднявшись от пулемета, Сашка снова с колена бросил еще две гранаты, на этот раз чуть дальше, к штабелю снарядных ящиков, около которых он заметил отползавшего от орудия немца.

Но паника среди орудийной прислуги после этого утихла, и Невский услышал первые посвисты пуль над головой. Выстрелы автоматов и винтовок стали раздаваться откуда-то из-за домов, около самой стенки сарайчика разорвалась граната, оглушив Невского и запорошив его поднятой землей.

«Значит, заметили меня, надо скорее слезать с крыши»,— почему-то вслух произнес Невский и проворно сполз на землю. Но теперь, лежа, ему стало труднее выбирать цель. Он отполз от стены к кукурузной гряде, стал прилаживать пулемет, и в это время над головой, срезав сухие листья и стебли с початками, прошла автоматная очередь. Откуда-то с чердака или с крыши Невского стал обстреливать автоматчик. Сашка откатился в сторону, развернул пулемет туда, откуда услышал выстрелы, наугад дал очередь и, чуть приподнявшись, решил сделать бросок назад, к сарайчику.

Боль ударила выше лопатки со страшной силой, наотмашь, и сознание стало сразу же угасать. Цепенея от боли, он ткнулся лицом в землю, затаил дыхание. И земля вдруг почему-то стала переворачиваться, стремительно покачнулась, готовая сбросить его в какую-то пропасть. Потом все стало на свои места. Когда сознание стало проясняться, боль опять вцепилась хищными клыками во все тело, парализуя его, делая бессильным, вялым, будто чужим, не принадлежащим ему. Сашка провалился в какой-то кровавый мрак, сквозь который угасающим сознанием услышал совсем близкие выстрелы, чьи-то голоса.

Уже вечерело. Погода была еще по-летнему теплая, однако уже с ощутимой предосенней свежестью в воздухе.

По огороду шли двое красноармейцев. Раздвинув стебли кукурузы, один из них едва не упал, споткнувшись о ствол ручного пулемета. Недалеко от него в пяти-шести

метрах лицом вниз лежал человек в темной куртке. Правая рука его вытянулась вперед, как у пловца, ноги в разбитых ботинках были раскинуты в стороны.

— Гляди-ка, Гриша, человек,— обратился он к своему товарищу.

Подошедший Гриша нагнулся над лежащим, осторожно перевернул его на спину.

— Гляди-ка, еще живой, дышит тихонько. Это, видать, он бой с фрицевскими батарейцами вел. А ну, давай за санитарами, не мешкай. Кто же он такой?— нагнувшись над Невским, вслух рассуждал Гриша.— Одет во все гражданское, вроде совсем не боец, а тарараму у фрицев наделал, как будто наступал целый взвод.

ВСТРЕЧИ И РАССТАВАНЬЯ

Из окна госпитальной палаты Невский слышал паровозные гудки. Какая-то нестерпимая тоска слышалась в их прощальных криках. С узловой станции они спешили на запад, увозя солдатские эшелоны, танки, орудия, полевые кухни, зенитные орудия, крытые зеленые «ЗИСы» полевых радиостанций и «санитарок», многое другое, без чего нельзя было остановить рвущиеся в эти предзимние дни полчища врага к самому сердцу страны — Москве. И чтобы выжить, требовалось только одно, главное — победить.

В палате, куда после операции поместили Невского, было шесть кроватей с тумбочками. Рядом стояла койка танкиста Равиля Мусина — уроженца Уфы. Обе обгорелые руки у него были забинтованы по локоть, но лицо оставалось чистым, открытым, серые глаза, опушенные длинными густыми ресницами, смотрели с веселой лукавинкой, и Невский, знакомясь со своим соседом, почему-то подумал о том, что у людей, выбравшихся из огня, из горящего танка, обязательно бывают опалены волосы, брови и ресницы, а у Равиля они остались целехоньки. Но мало ли что бывает на войне. Рассказывая Невскому о последнем сражении, танкист сокрушался, что теперь вряд ли сядет снова в танк.

— Ведь для танкиста самое главное — зоркие глаза да ловкие руки,— говорил он, и в глазах его с чуть заметным восточным разрезом — обычно всегда живых и веселых — появилась грустинка.

— А тебя где ранило?— спросил он Невского. И тот растерялся, всполошился от этого простого, обычного в

подобной обстановке вопроса: и в самом деле — где? Как назывались те деревушки, в которых для него началась война? В какой они области? Невский до мельчайших подробностей помнил свой неравный поединок с немецкой батареей, с мотоциклистами, тяжелое ранение Киквадзе, а вот название деревенек так и не успел узнать, да и не интересовало его это в то время, не до того было. В том последнем бою немецкий автоматчик ранил его в ключицу, выбил два ребра, да еще две пули хирург вытащил из бедра. Прорвавшаяся из окружения, поредевшая в боях часть окончательно разгромила батарею фашистов, подобрала его, и вот после трудной дороги он оказался в госпитале, расположенном в двухэтажном здании неподалеку от железнодорожного вокзала. И снова Невский не знал названия этого города, будучи то в беспамятстве от сильных болей, то перетаскиваемый на носилках в автомашины, вагоны, снова в санитарные машины.

— Неужели начисто запамятовал?— вывел Сашку из задумчивости Равиль.— Так, брат, не годится. Надо обязательно знать, помнить это место. Ну, а часть-то какая ваша, если не засекречена начисто?— спросил он с усмешкой.

И Сашку даже бросило в пот от этого вопроса. Знал он только старшего лейтенанта Соколова, который под конвоем отправил его в трибунал. Помнил боевого командира взвода Косенко, своего конвоира Суворова, отважного Сандро Киквадзе да рядового Пришельцева, с которым коротал первую на войне ночь в траншее. Еще запомнил фамилию майора Зайцева из военного трибунала. Ведь были всего ночь да один день — такой трудный, полный неведомых опасностей, в окружении немцев, когда пришлось ему вступить в бой, выполнять приказ Косенко, почти невероятный по своей сложности и трудности.

Что же сейчас ответить Равилю, который задал, по сути, самый простой, обычный в таких случаях вопрос своему соседу и как можно было уклониться от него с ответом? Вопрос этот еще, несомненно, зададут врачи при заполнении лечебной карты, будут задавать и дальше другие люди, с которыми предстоит встречаться. И как же теперь быть? Рассказать снова о себе все, начиная с танцплощадки, с побега из тюрьмы вплоть до того, как забрасывал немцев гранатами и бил по ним из пулемета до той самой минуты, пока фашист не прошил его автоматной очередью, и только потом каким-то чудом нашли его раненого и спасли отступавшие бойцы? Только так и не иначе должен теперь

Невский поступить, рассказав и Равилю, и, конечно, госпитальному начальству обо всем этом. А что там будет дальше — теперь для него вовсе не так важно: самое трудное и страшное уже осталось позади.

— Ну, что же ты молчишь? Может, контузило, память отшибло?— опять вывел Невского из тяжелого раздумья танкист.— Или не хочется вспоминать?

— Ты извини,— ответил Сашка,— но у меня такая история, что сразу в двух словах не расскажешь. Одним словом, совсем я не боец Красной Армии.

— Как же так?— сначала засмеялся, сочтя эти слова за шутку, а потом удивился танкист.— Выходит, гражданский ты человек? А как же ранение? Под бомбежку, что ли, попал?

— Да нет, не под бомбежку. Воевал я с немцами, а вот только, как бы объяснить тебе, вроде бы добровольно, не по призыву попал на фронт...

В это время начался обход, дальнейший разговор невольно оборвался. В палату в окружении двух врачей и медсестер вошел начальник госпиталя — моложавый, стройный, похожий своей выправкой на строевого командира. Из-под белоснежного халата Невский увидел на его петлицах три «шпалы» и золотистую эмблему военных медиков — чашу, обвитую змеей, которую армейские остряки называли «опохмеляющей тещей». Медсестра подала ему историю болезни первого раненого. Подойдя к кровати Равиля, военврач справился о его состоянии, сне, аппетите, пощупал лоб, проверил пульс.

— Крепись, лейтенант, скоро любовные письма будешь писать,— сказал он. И Сашка тихонько ахнул про себя: вот-те и Равиль! Оказывается, он лейтенант, а ему ни слова о своем звании. Начальник госпиталя поговорил с раненым в руку майором, назначил какие-то процедуры двум другим офицерам — одному, лежащему с ногой, подвешенной в гипсовом «сапоге» со сложной вытяжкой, укрепленной на спинке кровати, и другому — с забинтованной головой. Наконец вся группа подошла к Невскому, который все это время тревожно гадал: почему не подходят к нему, хотя его койка была первой от двери? Наверняка что-то узнали о нем, и неизвестно, какой предстоит разговор, о чем, кроме состояния здоровья, могут спросить.

— Здравствуйте, товарищ Невский,— положив ладонь Сашке на лоб, поздоровался начальник госпиталя. Медсестра подала ему из папки небольшой листок. Пробежав написанное, главврач обратился к дежурному ординатору:

— Это же направление из ХППГ. Где история болезни Невского? Почему его поместили в офицерскую палату, не оформив документы? Ваше воинское звание, товарищ Невский? Где ваши документы?

«Вот оно и началось,— тоскливо подумал Сашка,— уж теперь-то докопаются до конца, теперь не выкрутиться, здесь не передовая. Неужто опять суд, колония?»

— Нету у меня документов,— хрипло, будто проваливаясь в холодный омут, проговорил он.

— Как это нету?— вскинул брови военврач.— Голым, что ли, воевал?— В голосе его прозвучала резкость и официальная строгость.

— В тюрьме они, в колонии остались,— с каким-то обреченным отчаянием, почти равнодушно проговорил в наступившей тишине Невский.

— Как же так? При чем здесь тюрьма, если вас ранило в бою, на передовой?

— Да так вот и ранило,— грубовато и совсем отчужденно ответил Невский, словно этот стройный симпатичный подполковник медицинской службы в чем-то несправедливо обвинял его.

— Ну, коли так, то разговор будет другой,— и, обратившись к ординатору, тоже молодому, видать, своему одногодку, капитану медицинской службы, приказал:— Раненого оставить пока в этой палате. Свяжись, Юра, с военным комендантом, пусть выяснит его личность, и немедленно мне доложи результат.

— Вон ты какой, оказывается, интересный доброволец,— заговорил после того, как окончился врачебный обход, Равиль.— Героем тебя сейчас, извини, трудно назвать. По-моему, на фронт люди идут иным путем,— обратился он к раненому в руку,— как по-вашему, товарищ майор?

— По-моему, на войне всякое бывает,— ответил тот.— Важно, что парень сбежал из тюрьмы не куда-то, не спрятался в тылу, а прямо в огонь, в бой бросился. Думаю, что разберутся. Кровью искупил он свою вину.

О том, что Невский сбежал из тюрьмы, осужденный, может быть, за какое-то тяжкое преступление, всезнающие и в то же время сердобольные санитарки и нянечки уже разнесли весть по палатам. Будто ненароком посмотреть на этого таинственного человека, заглядывали в палату ходячие раненые. Невский чувствовал, видел их настороженно-любопытное внимание к нему, которое сильно тяготило, и он нетерпеливо ждал человека из комендатуры,

который должен разобраться в его запутанной истории, принять, наконец, какое-то окончательное решение.

Чем дольше тянулось это ожидание, тем все больше портилось Сашкино настроение. Без всякого аппетита похлебал он в обед борщ, кое-как проглотил котлету и закрылся с головой одеялом.

— Спишь, что ли, парень?— легонько тронул его раненый — рыжеволосый, веснушчатый.

Невский откинул с головы одеяло.

— Да просто дремлю,— соврал он, хотя было ему совсем не до сна.

— Не куришь? А то давай. Ходячим-то разрешают только в коридоре, а лежачие, вот как ты, могут в палате. Да и ходячие у нас втихаря смолят.

Сашка прочитал в глазах раненого рыжего бойца и любопытство, и какое-то участие. Закурили предложенные солдатом тонкие папиросы «Красная звезда», или «Звездочку», как называли во время войны этот сорт самых популярных папирос.

— От соседа остались, царство ему небесное, как говорится. Тот вчера дал дуба. На его койку тебя и определили,— издалека начал разговор боец. Глубоко затянувшись, он с минуту молча разглядывал Сашкино лицо, потом спросил:

— Говорят, будто ты из тюрьмы рванул когти? По какой статье в кичмане срок-то тянул?

— По двухсотой. Часть не помню. За драку,— ответил Сашка.

Он угадал в жаргонных словечках, которых наслышался в колонии, в этом человеке бывшего зека, который когда-то, видать, тоже отбывал срок наказания.

— Я тоже тянул срок. Но отсидел и завязал. По дури, по молодости когда-то залетел. Теперь семейный, лейтенант, сапер. Вот ранило, кость задело.

На Невского сразу наплыло неприятное воспоминание о стычке с лысым шепелявым «паханом», «воре в законе», его дружках, вспомнил с неприязнью о том, как его били около нар и никто не заступился, даже не шевельнул пальцем, пока сам не защитил себя.

А раненый лейтенант-сапер продолжал свою исповедь:

— В картишки я любил игрануть. Когда пофартит, когда продуешься до нитки. И вот один раз сел за компанию в «очко» с рецидивистом-уголовником, Леха Петля его кличка была. Лысый, как коленка, шепелявый, но злой, как волк, и злопамятный к тому же.

— Постой, постой,— перебил его Невский.— Леха Петля, говоришь? Да знаю я его, пахана поганого. В одной камере с ним был. Накинулся он на меня с дружками, свалили, начали лупить. Ну, я поднялся и дал сдачи.

— Кому? Самому Лехе Петле?— обрадованно, даже восхищенно удивился рыжий.— Ну ты герой, силенка, видать, есть, если не побоялся этого зверюгу. Я из-за этой стервы — Лехи и попал в лагерь. Встретился бы сейчас с ним, ей-богу, зубами перегрыз бы его поганую глотку. Ведь молодняк портит, просто затягивает в поганое свое болото. Трудно от него уйти. Я, веришь ли, побоялся перед судом угроз этого гада, на себя все взял, вот и мантолил, посчитай, почти пять годков. Эх, дурак дураком тогда я был,— со вздохом закончил он.

Только на другой день после обеда в палату к Невскому пришел в халате, накинутом на армейский китель, старший лейтенант с коричневой папкой в руках. Сопровождавшая его дежурная медсестра подошла к Сашкиной кровати и, указывая на него, сказала:

— Вот он, этот самый Невский. Два тяжелых ранения у него и два касательных,— пояснила она зачем-то старшему лейтенанту.

Тот сухо кивнул Невскому и, разложив на тумбочке папку с бумагами, сел на подставленную медсестрой табуретку.

— Я оперуполномоченный НКВД старший лейтенант Панкратов. Должен произвести дознание согласно поступившему из военного госпиталя заявлению главврача. Готовы ли вы, гражданин Невский, отвечать на мои вопросы?

Сашка молча кивнул головой.

Сначала он ответил на обычные вопросы: фамилия, имя, год и место рождения, потом Панкратов спросил, когда и за что был осужден, где отбывал наказание. На все эти вопросы Невский ответил спокойно, четко и ясно. После этого старший лейтенант спросил, когда и каким путем удалось Невскому бежать с места заключения.

— Не торопитесь с ответом, хорошенько обдумайте подробности,— сказал он и вышел, предупредив, что скоро вернется. Отсутствовал он не больше пяти минут и вернулся с дежурным врачом, тем самым, которого начальник госпиталя назвал совсем не по-военному — Юрой. Входя в палату, они продолжали разговор на повышенных тонах. Оперуполномоченный Панкратов ссылался на какую-то следственную тайну, а капитан Юра говорил о нетранспортабельности Невского. В конце концов решили

удалить из палаты всех ходячих, оставив в ней только раненного в ногу.

— Итак, продолжим наш разговор. Я уже предупредил об ответственности за дачу ложных показаний, поэтому прошу не торопясь и как можно точнее рассказать о побеге: месяц, день, час, где и каким образом вы сумели уйти из-под охраны. Кто был с вами, кто способствовал побегу?

Сашка заговорил, и Панкратов стал подробно записывать его рассказ о том, как он выбежал из колонны заключенных, спустился в колодец, как потом пробирался в потемках по лесу, ехал на крыше вагона.

— Какие же были у вас мотивы к побегу?

— Какие тут могут быть мотивы, когда фашисты напали на нас и надо защищать страну? Вот и решил я, будь что будет, попасть на фронт,— он заволновался, стал пальцами нервно теребить конец одеяла, и потом, глядя прямо в глаза Панкратову, сказал:

— Пускай меня после госпиталя судят, но я все равно убегу на фронт и буду воевать до конца.

Старший лейтенант и эти слова записал. Он дал Невскому прочитать и подписать протокол и просто, без всякой официальности, спросил:

— Значит, один с пулеметом и гранатами пошел на батарею? Страшно, небось, было одному-то?

— А по-моему,— ответил Невский,— не страшно только тому, кто не понимает до конца опасности, или круглому дураку. Но я тогда как-то не думал об этом. Я думал так: чтобы самому остаться живым и как-то выручить взвод, надо обязательно победить.

— Очень любопытно и абсолютно правильно,— уже совсем повеселев, заговорил оперуполномоченный.— Но только знаешь, в чем тут у тебя заковыка,— впервые назвал он Невского на ты,— не догадываешься?

— Не понимаю, невдомек, в чем она, эта заковыка,— пожал плечами Сашка.

— Да в том, что вся твоя, как говоришь, правда, все, о чем ты рассказал мне, требует проверки. А пока, до выяснения некоторых вопросов, лечись на здоровье, товарищ Александр Невский.

На слове «товарищ» энкэвэдэшник сделал особое ударение, от чего Сашка облегченно вздохнул, радостно улыбнулся.

После ухода Панкратова все ходячие вошли в палату и первым к нему подошел лейтенант Равиль Мусин:

— Мы сейчас остановили в коридоре этого старлея

из НКВД: что, мол, за птица этот Невский?— спрашиваем. Это, ребята, отвечает, следственная тайна, а у самого морда веселая, даже озорная какая-то. Мы все к нему пристали: не темни, товарищ начальник, в одной палате лежим с Невским: кто же он, в конце концов, как к нему относиться?

— Ну, так и быть, говорит,— перебил его майор с рукой, покоящейся на «самолете»,— если Невский не врет, то просто геройский он парень. Однако кое-что о нем надо выяснить. А вы его не обижайте, вдвойне тяжело ему, так что поддерживайте у парня дух.

— А я,— вклинился в разговор рыжий лейтенант, которого когда-то, как и Сашку, постигла горькая участь,— я сразу понял Невского — наш парень, боевой, отчаянный.

А за госпитальными окнами палаты время от времени нестерпимой тоской звучали прощальные гудки паровозов. Они напоминали Сашке его дорогу на фронт, под разговор колес «Ты куда, ты куда?» живо вспомнилась встреча с добрым старым учителем на лесной опушке, который снабдил его на дорогу хлебом.

А как там дома, в его родном тополином городке, мать, Феня, родные, близкие? Получить бы военную форму да хоть на денек с документами бойца появиться дома, на знакомых с детства улицах, чтобы ахали, уважительно здоровались встречные, а он, Александр Невский, гордо козырял им в ответ: да вот так, мол, и бьем фашиста. А если бы еще в петлицах гимнастерки поблескивали лейтенантские «кубари», а на груди сверкала боевая медаль! В переполненном зале сам директор школы восхищенно говорил с трибуны: а теперь слово бывшему нашему лучшему воспитаннику, боевому командиру Александру Невскому, который всегда был нашей гордостью. И тут Сашка вспомнил, как однажды на педсовете, распекая Сашку за какую-то шалость, директор сказал о том, что с таким поведением, как у него, Невского, вырастают никчемные разгильдяи. А вот теперь смотрите на него, ахайте. Но тут сладкие грезы обрывались. Из черной тарелки репродуктора голос Левитана сообщал: «... в результате тяжелых упорных боев... оставили города...» Невский представил, как из этих городов и сел уходила наша пехота, артиллерия, тянулись колонны женщин, стариков, обозы раненых. Но ведь это временно. Скоро соберутся наши с силами, и уж тогда поплатится проклятый фашист за все. Теперь-то не подкачает в бою Невский, он уже постиг первые азы великой священной науки побеждать.

А старший лейтенант Панкратов все молчал...

Перевели в отделение выздоравливающих рыжего лейтенанта. Однажды ночью, когда все в палате спали, тихо скончался раненный в голову командир. Его место занял немолодой подполковник, кавалерист, которому ампутировали ногу. Лежа на кровати, он в безысходной тоске смотрел на пустоту под одеялом вместо его второй ноги, целыми днями молчал, на вопросы отвечал угрюмо и неохотно.

Однажды в палате состоялся концерт. Девчата с шефствующей над госпиталем швейной фабрики спели несколько песен, а пришедшая с ними длинноногая девочка-подросток прочитала симоновское «Жди меня». Читала она высоким чистым голосом, волнуясь, и это ее волнение как-то передалось раненым. У Невского вдруг защипало в глазах, спазмой сжало горло. У входа в городской сад в родном его тополином городке он увидел Феню в нарядном платье, такую счастливую, родную, близкую, радостно заглянувшую прямо ему в глаза.

Жди меня, и я вернусь,
Только очень жди...

Как они там — Феня, мать? Неужто, потеряв его следы, забыли, не вспоминают? А написать им Сашка не решался. Вот придет однажды энкэвэдэшник Панкратов с окончательным приговором, и тогда он обязательно напишет и матери, и Фене, и даже в райпотребсоюз, где его наверняка посчитали за хулигана и еще бог весть за кого.

Под Новый год с него сняли гипсовую «рубашку», дышать стало свободнее, раны почти полностью затянулись, срослись ребра, только ключица все время ныла, и лечащий врач Юра, легонько надавливая пальцем вокруг раны, задумчиво хмурился, делал уколы, менял повязки, назначал прогревание.

— Что, плохо дело, доктор?— спрашивал Сашка и отвечал сам себе:— Видать, неважно, раз все время ноет. А интересно, доктор, рука-то будет действовать, а то ведь хана без руки, как стрелять буду?

— Успеешь еще пострелять. Вот немного подлечим, и будет полный порядок.

Но за этими бодрыми утешительными словами проскальзывала какая-то скрытая тревога хирурга. Сашка подсознательно чувствовал, что тут что-то не так. Значит, плохо заживает его рана, и кто знает, как будет теперь с рукой, может, получится из Невского молодой инвалид, которому не выстрелить одной рукой, не бросить гранаты.

Вот что может получиться. О том, как однорукому жить и кем работать после войны, Сашка совсем не думал: главное, самое важное для него было сейчас как можно скорее вернуться во взвод Косенко, чтобы бить и бить врагов, которые бандитами пришли на его родную землю и уничтожают все подряд — людей, города, деревни. Когда Невский рассказал однажды вечером о том, как фашисты гнали на минное поле стадо коров, одноногий кавалерист впервые заговорил:

— Это что, коровы. Захватили мы одно большое село, порубили фашистов. Скачу по улице к окраине, горит большой дом, и вдруг слышу страшный нечеловеческий рев — кричат женщины, дети, запертые внутри. У крыльца пустые канистры из-под бензина. Выломали мои кавалеристы двери, окна, повытаскивали обгоревших людей, сами порядком обожглись. А ты — про коров.— И тяжело вздохнув, полковник сурово закончил:— Ведь что творится! Тысячами каждый день гибнут люди. Рушатся, горят города и деревни. Сколько строили свою жизнь, все заново налаживали. После войны все опять поднимать. Но сейчас главное — остановить немца, а потом добить.

Сказав это, кавалерист закрыл ладонью глаза и опять ушел в себя.

ПОЛЕВАЯ ПОЧТА № 61357/б

В начале апреля сорок второго года Невскому назначили лечение в физиокабинете. Доктор Юра объяснил ему, что теперь от долгой неподвижности руки возник анкилос. В суставной сумке отложились соли, поэтому рука не поднимается выше уровня плеча, и нужно регулярно делать парафиновые повязки и специальный комплекс гимнастики. Сашке вначале показались несерьезными и даже смешными эти ежедневные упражнения под команду медсестры. «поднять, опустить, руку вперед, назад», и опять: «поднять, опустить, вперед, назад». После чего медсестра измеряла и записывала в журнал изменения угла движений. После девятого сеанса эта неразговорчивая, с каким-то каменно строгим лицом, похожим скорее на маску, из-за чего Невский считал ее сухим педантом, медсестра сказала, что лечение идет успешно и теперь уже скоро рука начнет нормально функционировать.

Как-то Невский спросил, как зовут медсестру. Ответ

прозвучал таким же тоном, как ее команды: «поднять, опустить»:

— Санинструктор старшина Соколова.

Сашка удовлетворенно кивнул. Соколова? Где-то он не так давно слышал эту фамилию. Много, конечно, на свете Соколовых, но этот Соколов хранился где-то в глубине памяти. Но как ни ломал голову Невский, припомнить не мог. Однако нет-нет, да и вспоминалась эта фамилия без всякой связи со старшиной медицинской службы — сухой, молчаливой, коротко подстриженной. И однажды во время очередного сеанса Невский вдруг вспомнил старшего лейтенанта Соколова, к которому на передовой привел его красноармеец Суворов, с рыжеватыми усиками, сероглазого, с широким разлетом бровей, точно таким, как у этой Соколовой.

«Чепуха,— подумал он,— какое отношение может иметь эта Соколова к тому боевому командиру»,— но на всякий случай в передышке между упражнениями сказал:

— Мне, между прочим, встречался на передовой в одной деревушке старший лейтенант Соколов, на вас маленько смахивает. Вот я, как только узнал вашу фамилию, все время думал, где, мол, раньше слышал такую, ну и сейчас поглядел на ваши глаза и брови и вспомнил того командира Соколова. Сильная схожесть.

— Где видел, когда, какой он?— сразу оживилась старшина Соколова.— Сколько ему примерно лет?— Вопросы так и сыпались, и санинструктора теперь было трудно узнать: щеки ее даже покрыл румянец, поднялись брови, образовав на лбу складки.

— Да говори ты, не тяни.

— Что я могу сказать? Виделись-то всего раз. Старший лейтенант тот — коренастый, усы у него рыжеватые, брови как у вас, будто крылья, пожилой уже, лет, может, тридцати.

Соколова при Сашкиной характеристике относительно пожилого возраста невольно улыбнулась:

— По-твоему, тридцать лет уже пожилой возраст для человека? А как имя этого старшего лейтенанта, не помнишь?

— Говорю же, накоротке встретились,— ответил Невский, теперь живо вспомнив тот неприятный разговор с Соколовым в окраинном домике, откуда его вывел Суворов.— Не успели толком познакомиться. Я только что прибыл в ту часть и сразу — в бой. Не до знакомства тогда было. Просто доложил, что прибыл для прохождения

дальнейшей службы, а тут немцы начали стрельбу, вроде узнали о моем прибытии,— бессовестно врал Невский,— так что извините, товарищ старшина, больше к сказанному добавить ничего не могу.

Проводя после затянувшейся на этот раз передышки лечебную гимнастику, санинструктор Соколова была заметно рассеянна и закончив измерение угла поднятия руки, сняв халат, попросила Невского немного задержаться в коридоре, пока сбегает за фотографией Соколова. Торопливо уходя, легонько прикоснулась к Сашкиному плечу ладонью, и когда отняла ее, он успел заметить искалеченные большой и указательный пальцы. «Где бы это ее? Раньше как-то не замечал,— подумал Невский,— да и хмурая все время, видать, гнетет беднягу что-то...»

Фотография была размером девять на двенадцать, с помятыми уголками, но четкая. Сашка увидел сидящего на стуле моложавого чубатого лейтенанта. Он закинул ногу на ногу в начищенных до металлического блеска сапогах. А чуть позади, опершись о спинку стула, стояла в белом платье, в завитках светлых волос санинструктор Соколова. Только совсем молодая, круглощекая, счастливая.

— Он самый, Соколов, и вы, товарищ старшина, рядом. Сразу обоих опознал.

— Значит, Георгий Соколов жив?

Утвердительно на этот вопрос Невский ответить не решился — мало ли что могло случиться в страшной заварухе после того дня, когда Соколов с частью отряда ушел к переправе. Чтобы обойти этот щекотливый вопрос, он спросил в свою очередь:

— А кем он вам, Соколов, доводится?— И этот глагол настоящего времени «доводится» прозвучал как бы утверждением, что жив старший лейтенант Георгий Соколов, поступивший тогда, на взгляд Невского, и жестоко, и в то же время справедливо: как можно было послать в боевые порядки человека без документов, да к тому же бежавшего из тюрьмы? А с другой стороны, мог бы ведь, наверное, Соколов проверить Невского в бою, рискнуть, поверить в его искренность.

— Это мой любимый братик — Георгий, Жорочка, как мы его зовем в семье. Тут, на снимке, он тогда, в сороковом, приехал домой в отпуск после окончания военного училища. Вот я и попросила его сфотографироваться на память. А весной сорок первого мы с мамой ездили к нему в гости в Молдавию. Там нас и застала война. Мама погибла при бомбежке, меня, как студентку

медучилища, прямо там мобилизовали. Вот видишь руку,— протянула она изуродованную ладонь,— это меня фашистским осколком. Хотели списать в тыл, но настояла, оставили, только в госпитале. Так, значит, воюет наш Жоржик, выходит, жив-здоров?

— А что ему сделается?— нарочито с каким-то даже удивлением ответил Невский.— Бьет фашистов, как положено.

— Ладно, Невский, великий оптимист. Спасибо за добрую весточку. Будем надеяться на самое лучшее. А ты лечись скорее да просись к Георгию, раз вы знакомы с ним.

— Да уж обязательно попрошусь,— чувствуя, как краснеет от собственной лжи, ответил Невский. И потом добрую половину ночи проклинал себя за то, что не рассказал о себе всю правду санинструктору Соколовой. Она, конечно, посчитала его за однополчанина Соколова, который воевал рядом с командиром, выполнял его боевые команды.

Ночью, лежа в кровати в привычной бессоннице, перебирая в памяти свои нечистые маятные пути-дороги на фронт, Сашка подумал: ведь должен быть у сестры Георгия Соколова его адрес — номер полевой почты. Конечно, есть, коли упомянула она, что давно не получает от брата писем. Всякое могло с ним в этой страшной сумятице отступления случиться, но часть, в которой он служит или служил, остается. Значит, надо как-то сообщить Панкратову номер этой части, и тогда легче будет «оперу» кое-что проверить.

Так и не смог Невский заснуть. И когда за окнами занялся лимонный апрельский рассвет, поднялся, умылся, заправил постель и вышел в коридор покурить. В это время в коридоре ему встретился военврач Юра.

— Что это, Невский, ни свет ни заря поднялся?

— Не спится, товарищ капитан медицинской службы, неопределенность тяготит.

— Это верно,— согласился Юра,— положение твое совершенно неопределенное, неясное: то ли ты боец, то ли гражданское лицо, которое мы не должны держать в военном госпитале. Что обещал тебе старший лейтенант из органов?

— Сказал, кое-что вроде надо проверить. И с того времени проверяет, а я маюсь, жду... Тут такое дело выяснилось, товарищ Юра, то есть товарищ военврач,— смутившись, сразу же поправился Невский,— оказывается,

старшина Соколова является сестрой старшего лейтенанта Соколова Георгия, а я в его подразделении немного воевал. Вот бы взять адрес этой части, чтобы подтвердить мою личность. Когда ранило, то подобрали и сюда отправили совсем из другой части. Может, как-то поможете?

— Вот как решим,— выслушав рассказ Невского, после некоторого раздумья сказал военврач Юра,— ты после вечернего обхода приходи ко мне в ординаторскую. Напишем вместе обо всем этом. Адрес Соколова я возьму у его сестры. Лады?

Как и было условлено, кое-как дождавшись окончания вечернего обхода, Сашка пришел в ординаторскую, где военврач Юра уже ждал его.

— Пойдем в кабинет начальника госпиталя, чтобы не мешали,— позвал он Невского.

Когда под диктовку Юры Невский стал писать первые вступительные строки, оказалось, что буквы из-под пера у него выходят неровными каракулями, будто пишущий их человек едет на большой скорости в кузове автомашины. Взглянув на эту писанину, военврач удивленно спросил:

— Ты малограмотный, что ли? Кто разберет эту твою писанину?

— Понимаете, товарищ военврач,— смущенно ответил Сашка,— я и сам удивляюсь и не пойму, почему так получается. Почерк у меня был сносный, нормальный. Наверное, это из-за ранения, да и давно не писал, отвык.

— Ладно, отвечай на мои вопросы коротко и ясно, а я буду записывать. А почерк у тебя должен со временем восстановиться, не пугайся, бывает такое.

Заканчивалось письмо словами: «Прошу послать запрос старшему лейтенанту Соколову о моем пребывании в в/ч, а также опросить старшего сержанта тов. Косенко, бойцов Суворова, Шацкого, Пришельцева, с которыми я до ранения находился вместе и был послан на выполнение боевого приказа, где и был тяжело ранен».

Вкладывая письмо в конверт, военврач смерил глазами поднявшегося со стула Сашку и с грустинкой сказал:

— Вот оно, ребяческое легкомыслие, Невский. Я читал, что раньше, в царское время, таких, как ты, почти двухметровых богатырей брали в гвардию. Быть бы и тебе командиром в нашей армии, а теперь вот приходится распутывать твои похождения. В девятой палате недавно раненый грузин рассказывал, как такой же вот здоровенный боец один на один уничтожил целую батарею фашистов. Вот какие герои у нас, Невский.

— А как того грузина фамилия?— насторожился Сашка, еще не веря, что это мог быть Сандро.

— Киквадзе. Руку ему ампутировали из-за гангрены.

— Киквадзе?!— заорал, сорвавшись с места, Невский.— Неужто он живой? Значит, отбились наши, вышли на переправу! Ах ты, Сандро, дорогой ты мой Сандро Киквадзе! Мы с ним ходили на фашистскую батарею. Он это, он!— И Сашка залился нервным смехом, не скрывая счастливых слез, и, нарушив всякую субординацию, крепко обнял военврача Юру и неумело чмокнул его в щеку.

Киквадзе находился на третьем этаже в палате для ходячих раненых. В первое мгновение Невский не узнал его — в синем байковом застиранном халате, коротко остриженного, сильно похудевшего. Пустой рукав был заправлен под пояс халата, и оттого Сандро казался каким-то тощим, узкоплечим, совсем не таким, каким был в выгоревшей гимнастерке, перехваченной в узкой талии широким командирским ремнем.

Невский протянул ему правую руку и смутился от того, что Киквадзе как-то неловко сунул левую. Он не узнавал Невского.

— Ты ко мне, товарищ?

— К вам, к тебе, товарищ Киквадзе. Я Невский Сашка, вместе на батарею ходили, помнишь?

— Вай, вай, дорогой,— широко и радостно заулыбался Сандро,— тот самый смелый, храбрый снайпер! Значит, живой, дорогой ты мой, значит, выполнил приказ, подавил батарею. Ах, герой, настоящий джигит. Дай-ка я тебя обниму своей единственной левой, дай-ка расцелую тебя, милый ты мой человек...

Стоявшая рядом немолодая медсестра смахнула слезы и всхлипнула. Все раненые с любопытством молча смотрели на эту встречу двух бойцов, совершивших какой-то героический поступок. Наконец один из них, молодой, видать, первого года службы, обратился к Киквадзе:

— Товарищ Сандро, так это тот самый боец, про которого ты нам рассказывал?

— Он самый, собствэнной пэрсоной.

О ЧЕМ РАССКАЗАЛ КИКВАДЗЕ

А рассказал он многое из того, что пережил сам, о чем хорошо, видать, на всю жизнь запомнил. Но прежде вернемся к тому, теперь далекому, полному трагизма времени.

Вот как описывает события октября 1941 года маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков в его книге «Воспоминания и размышления».

«...Брянский фронт, во главе которого стоял генерал-лейтенант А. И. Еременко, также находится в крайне тяжелом положении. Большинство войск фронта оказалось в окружении и с трудом пробивалось на восток. Героическими усилиями им все же удалось 23 октября вырваться из окружения».

Выходил из окружения, постоянно преследуемый фашистами, полк, известный уже нам, вернее, то, что от него осталось. В этот поредевший, но сохранивший знамя полк и попал Невский, сразу оказавшись под огнем противника, не успев как следует освоиться, ознакомиться, узнать хотя бы название селеньица, области или района. Все сразу же завертелось, закружилось, понесло Сашку помимо его воли и желания на ту грань, которая порой считанными минутами отмеряет жизнь от смерти. И вот теперь, заканчивая лечение, понимая, что он окончательно выздоравливает, поправляется на госпитальных харчах, Невский ни на минуту не чувствовал себя равным с остальными ранеными, которых гражданский долг позвал защищать родную землю от страшного лютого врага. Он оставался всего-навсего «зеком», которого, конечно же, ищут по всей стране, стерегут на вокзалах, в аэропортах, на автостанциях, о нем знают многие милицейские работники по описанным приметам, может, по разосланным копиям его фотографии. А выхода из этого капкана, в который он сам залетел, Невский пока не видел.

Киквадзе с Невским удалились в комнату, которую в госпитале именовали и клубом, и ленинской комнатой, и даже конференц-залом. Они уселись за столик, за которым иногда сражались шахматисты, и Киквадзе начал свой рассказ с того момента, когда он двинулся ко второму мотоциклу.

— Понимаешь, генацвали, хрэновина у меня вышла. Пэрвая граната почему-то не взорвалась. Я просто опупел: что за чепуха, думаю? Немцы тут как раз увидали меня, полоснули в мою сторону. Промазали. Бросаю вто-

рую гранату, а в это время они в меня свою кидают. Рвануло совсем близко. Рука — долой, но и моя граната рванула. А тут ты, вскорости, дорогой мой, поспел, перетянул руку, жизнь спас мою, а сам — на батарею, молодчага.

Подобрали Киквадзе двое бойцов, посланных на помощь. На батарею, которую Невский расстрелял и забросал гранатами, вышли окруженцы какой-то части. Они-то и спасли Невского. Остатки взвода старшего сержанта Косенко соединились с вышедшими из окружения и двинулись к переправе. Но к этому времени полк Соколова уже отошел южнее на новые позиции, где влился в какую-то выходившую из окружения дивизию. Киквадзе вывезли из огненного кольца и отправили в тыловой госпиталь.

— Когда я прощался с Косенко, он сказал, что из нашего взвода осталось только девять человек, зато обоз с ранеными спасли, успели отправить. По дороге у меня началась гангрена. Руку резали два раза и теперь ее совсем нет, хотя она всэгда болит, беспокоит, будто она осталась, даже пальцы вроде шэвелятся. Как дальше буду жить, генацвале? Кому я нужен, калека? Иногда даже жалею, что остался живым.

— Да ты что, товарищ Киквадзе! А мать с отцом, а твои родные и друзья? Эх, товарищ Сандро, не думал, что ты способен на такое малодушие. Вот у меня горе, так горе: вроде я живой, а вроде и нет Сашки Невского. Одним словом, я просто никто и, выходит, просто дерьмо собачье. Вот-вот меня должны разыскать и вернуть обратно туда, откуда бежал.

— Эй, друг, о чем говоришь? «Откуда, куда», зачэм бегал?— ничего не понял Сандро.— Ты толком растолкуй.

Снова — в который раз!— начал с танцплощадки свою исповедь Невский. Слушая этот печальный рассказ, Киквадзе то неодобрительно покачивал головой, то цокал языком, выражая свое удивление, как бы сокрушаясь, то явно восхищаясь.

— Я, Сандро Киквадзе, коммунист, кадровый солдат, видел, как ты воевал. Я до Крэмля, до самого товарища Сталина дойду и расскажу, какой ты храбрец, смэльчак,— загорячился Сандро, выслушав Сашкин рассказ.— Драться нэ надо было. Зачем портсигаром? А бежал из колонии правильно, молодец. На фронте твое место, а не за решеткой. Пойдем к начальству!

На другой день с самого утра Сандро развил бурную деятельность, принял самое горячее участие в судьбе Невского, проявляя свой кавказский темперамент, иногда

идя напролом, отчаянно сокрушая на своем пути все запреты, законные или чисто формальные.

У кастелянши он выпросил со склада чье-то командирское обмундирование, припугнув ее личным знакомством с якобы своим земляком Иосифом Виссарионовичем Сталиным. Потом добился того, что обмундировали Невского, кое-как подобрав на его рост шаровары и гимнастерку. В НКВД он поднял невероятный шум, назвав начальника отдела и старшего лейтенанта Панкратова тыловыми крысами, пригрозив им отправкой на передовую. При этом Сандро совал им под нос какое-то письмо, написанное на грузинском языке, ссылаясь на своих самых близких земляков — Сталина, Берия, еще какого-то высокопоставленного грузина. Зато военному коменданту, рвавшемуся на фронт, пообещал немедленную отправку после того, как свяжется с Москвой. Неистовым своим напором — где явно авантюрно, рискуя быть позорно разоблаченным и наказанным, где страстным убеждением — Сандро добился получения для Невского нужных документов. В военкомате он едва не испортил все дело. Окрыленный успехом, «подполковник» Киквадзе ворвался в кабинет военкома и приказал всем находившимся там военным и гражданским немедленно оставить их наедине с военкомом и Невским. Когда все они вышли, Сандро коротко обсказал историю Невского, обойдя его побег из колонии, выложил на стол только что полученные справки и потребовал оформить Сашке документы взамен потерянных в бою. Военком, ознакомившись с документами, снял очки и неожиданно попросил у Сандро его документы — командирское удостоверение личности.

— Какие тебе еще докумэнты? Ты не видишь, что мы прямо из госпиталя! Нигдэ нэ спрашивали докумэнтов, а ему подавай! Позвони в госпиталь, там мои докумэнты, бюрократ, формалист несчастный,— порядком струхнув, продолжал свой натиск Киквадзе, помня пословицу, что лучший способ защиты — нападение.

— Ваши документы, товарищ подполковник,— упрямо требовал военком.— Иначе я...

И тут Сандро решил пустить в ход уже испытанный им прием с письмом на грузинском языке.

— Вот мой документ,— выложил он на стол письмо. Военком надел очки, пробежал непонятный грузинский текст:

— Читай письмо товарища генерала, моего родного дяди,— отчаянно требовал Сандро.

— Но я же не знаю грузинского языка, может, это вовсе не от генерала. Хотя одну минуту. Он нажал кнопку звонка, и когда в кабинет вошел дежурный, приказал:

— Срочно ко мне капитана Кабаури,— и с хитрецой посмотрел на «подполковника» и долговязого бойца Невского, руки которого вылезали из рукавов едва ли не до локтя. Сейчас, мол, узнаем, о чем мог писать знаменитый генерал какому-то однорукому нахрапистому подполковнику, да еще без документов. Невский, в предчувствии скандального разоблачения, собрался уже шмыгнуть из кабинета, но в это время вошел капитан Кабаури.

— Товарищ полковник, по вашему приказанию капитан Кабаури явился,—доложил он, стоя по стойке «смирно», и Киквадзе угадал в своем земляке кадрового строевого командира, почему-то сидящего в это суровое время в тылу, в военкоматском кабинете.

— Присаживайтесь, товарищ капитан. Я пригласил вас перевести мне с грузинского письмо вот этого товарища, написанное лично ему якобы большим военачальником.

Капитан шагнул к креслу около стола военкома, и, когда стал в него усаживаться, правая нога у него осталась вытянутой — протезной.

И тут заговорил по-грузински Сандро. Он горячо приветствовал капитана Кабаури, рассказал о том, что жил в Гори, учился в Тбилисском пединституте, справился, где жил Кабаури. Тот охотно ответил, задавая Сандро встречные вопросы, называя своих знакомых, спрашивал, не знает ли кого из них. Оказывается, Киквадзе хорошо знал и был чуть ли не родственником одному из них.

Беседа затягивалась, и военком начинал нетерпеливо покашливать в ожидании ее окончания. И тогда Киквадзе попросил капитана Кабаури «перевести» военкому текст его письма из дома следующим образом: писал, мол, генерал, справляется, когда «подполковник» Киквадзе после госпиталя приедет к нему в наркомат.

— Добавь от себя еще что-нибудь. А я, генацвале, никакой не подполковник — форму выпросил в госпитале, чтобы выручить этого своего кровного боевого друга Невского, с которым были ранены в неравном бою. Документы ему срочно надо получить, на фронт рвется.

Кабаури быстро сориентировался в сложившейся ситуации и стал «переводить» текст письма.

— Дорогой мой земляк и друг,— отчаянно врал он,—

весь наш наркомат шлет тебе горячий привет и ждет с нетерпением твоего возвращения.

При словах «весь наркомат» Сандро чуть не поперхнулся, но сдержался и с напыщенным восхищением гордо поглядывал на военкома: знай, мол, кто перед тобой сидит, тыловая крыса. А Кабаури между тем, войдя в раж, продолжал отчаянно импровизировать, гиперболизируя подвиги Сандро, возводя его в ранг чуть ли не выдающегося полководца. Киквадзе уже стал не на шутку беспокоиться, когда Кабаури стал передавать «подполковнику» приветы от членов Политбюро.

— Ладно, достаточно,— поднялся из кресла полковник,— приходится верить письму. Вот только жалко, что не знаю грузинского языка, а то бы сам, без переводчика, прочитал,— сказал с лукавой улыбкой, в которой явно угадывалось сомнение насчет точности перевода. «А впрочем, чего на свете не бывает, особенно во время войны. И в конце концов этот долговязый Невский рвется не куда-то в тыл, домой, а на фронт,— прощаясь с посетителями, размышлял военком,— тем более все собранные документы у него в порядке, да и трудно спорить с этим нахальным подполковником: а вдруг действительно у него такие большие связи. Кто их поймет, грузинов...»

Сдавая на госпитальный склад гимнастерку с тремя «шпалами» в петлицах и натягивая с помощью Невского свой халат, Сандро так и залился веселым, счастливым смехом:

— Ну как, генацвали, «подполковник» Сандро действовал, а?

И чувствуя себя на седьмом небе, Сашка восхищенно орал:

— Да ты, Сандро, настоящий артист. Тебе большим начальником быть. Я тебя до конца жизни буду помнить. Буду жив, в гости к тебе приеду! Спасибо тебе, человеком меня снова сделал. Сейчас же домой письмо настрочу.

Но встрече боевых друзей, кровных побратимов, не суждено было состояться.

В ночь перед комиссией приснился Сашке странный сон, и когда он проснулся на рассвете, удивленно стал гадать: к чему бы такое, хотя в сновидения никогда не верил.

Стоит будто Феня у входа в горсад в любимом своем крепдешиновом платье. А рядом тот самый высокий, с толстым стволом, осокорь, и около него убитые Сашкой

немцы с белыми выпученными глазами, а он держит в руках грязный сопливый платок одного из фашистов. Прилипла эта мерзость к ладони, никак не может оторвать, отбросить платок Сашка. Как же теперь подойти с этакой срамотищей к Фене, которая зовет его, манит. Рвется к Фене Невский, но не может оторвать от земли ноги... Как теперь буду стрелять, неужто так и останется на руке эта мразь?

И когда умывался Сашка, и когда сдавал на анализ стеклянную банку с мочой, не выходил у него из головы этот сон. Даже вчерашние приключения с Киквадзе как-то отошли на задний план. Феня. Как она там живет-поживает? Как матушка, как дом его родной? Ведь откололся, забыл обо всем, даже о родимой матери в своей непутевой сумятице, в каком-то непрерывном круговороте, в котором совсем не было времени просто так сесть и сделать спокойный самоанализ: что натворил, как дальше быть? Все летит помимо его воли, затягивает, закручивает в какой-то узел, а когда этот узел окончательно развяжется — неясно. Жил все это время Невский без оглядки. А тут оглянулся.

После завтрака в палату пришел Сандро. Сашка собирался было выпросить у кого-нибудь из соседей бумагу, ручку, или, на худой конец, карандаш и написать матери, что жив и здоров, воюет на фронте, так что не стоит о нем беспокоиться и писать ему, потому что адрес у него непостоянный. И в конце черкнуть, так, между прочим, скороговоркой, привет Фене Федоровой — своей бывшей сокласснице. Но не больше.

— Здорово, дорогой Александр Невский,— приветствовал Сашку Киквадзе.— Нехорошо вчера получилось у меня, некрасиво и нэ честно. Хотя тебя выручил, а на душе у меня совсэм пакостно. Зачем подполковника изображал, врал про самого товарища Сталина, про всеми любимого Серго Орджоникидзе, да еще земляка — капитана Кабаури — втянул. Дураком себя показал. Ах, как противно. А ведь я коммунист, боец, разведчик!

Слушая запоздалое раскаяние и самобичевание этого хорошего, ставшего близким, дорогим человека, Сашка в душе соглашался с ним: действительно, для чего устроил Киквадзе этот спектакль с переодеванием и, главное, со спекуляцией именами великих людей. Неужели военком поверил? Нет, не мог. Наверняка понял, что все это какая-то очень глупая игра, и просто закрыл на нее глаза. Видать, только потому, что дело касалось

фронта, куда стремился Невский. А если вдруг все это обнаружится каким-то образом? И у Сашки от стыда, от страха сильно вдруг забилось сердце: кого выгораживал Киквадзе, почему не рассказал о нем, Сашке, всей правды? Ведь теперь снова жить Невскому в тревоге, ожидании горькой правды, да и Сандро за это наверняка не поздоровится. Выходит, попал он из огня да в полымя...

И, точно прочитав эти невеселые мысли враз как-то потускневшего, ушедшего в себя Невского, Сандро сказал в его утешение:

— Нэ горюй, генацвали. Дэло сдэлано. Теперь все от тебя самого будет зависеть. Бодрись. Собирайся на передовую, хорошо воюй, как воевал со мной до этого.

* * *

Когда за Киквадзе и Невским закрылась дверь кабинета начальника отдела НКВД майора Тарасова, Панкратов сокрушенно вздохнул:

— Вот уж не думал, что фронтовик коммунист Киквадзе способен на такую шутку. На пушку решил нас взять.

— Что нового про этого Невского?— перебил Панкратова майор Тарасов.

— Полагаю, следствие закончено,— отвечал старший лейтенант, протянув папку: в лесу найден разложившийся труп неизвестного, в котором комиссия опознала приметы бежавшего заключенного Невского. А это из народного суда по месту жительства Невского: амнистирован, осужден условно. А это показание баламута Киквадзе: Невский действительно участвовал в боевых действиях, совершил якобы чуть ли не героический подвиг — один подавил расчет немецкой батареи, обеспечил отход целого взвода. Других данных не имею.

— Ты, Панкратов, помнишь железное правило советских чекистов: бдительность — родная сестра победы? Товарищ Берия постоянно напоминает нам об этом священном правиле. И меня удивляет, просто поражает твой рапорт: «Следствие по делу Невского считаю законченным». А труп человека в лесу? Улавливаешь связь? Да враги, чтобы заслать к нам своего шпиона или диверсанта, и не такое могут придумать. По-твоему, выходит, одного Невского убрали, а его двойник оказывается в рядах действующей армии?

— Но ведь о том, обнаруженном в лесу, сказано: «есть основание предполагать». Значит, эти сведения неточны, предположительны. А наш этот бывший подследственный Невский дал точные показания о побеге. А главное, сравните его личность с присланной нам фотографией. А кроме того, тяжелое ранение в бою. Не сам же он себя в конце концов... Поэтому полагаю: следствие по делу Невского прекратить, пусть защищает Родину. В противном случае подаю рапорт по инстанции.

За год-полтора до войны Бориса Петровича Тарасова прислали начальником отдела в управление внутренних дел откуда-то с Печоры, где он в полковничьем чине был «хозяином тайги». Там начальник лагеря Тарасов был замешан в какой-то незаконной коммерческой операции и едва не угодил в одно из мест, где были свои «хозяева тайги». Говорили, что сам Берия лично знал Тарасова и облегчил его судьбу, но в звании полковник был понижен до майора. На новом месте он осторожно присматривался, прислушивался к сотрудникам, выбирал, на кого можно в случае чего опереться, кому довериться. Когда по неоднократно поданным рапортам некоторые работники управления отправились на фронт, Борису Петровичу становилось не по себе, он целыми днями страдал, но сам на фронт не рвался, ссылаясь на болезнь сердца, расшатанные нервы. Как-то осторожно, незаметно льстил, писал начальству доносы о сомнительных, на его взгляд, разговорах, словом, имитировал кристальную честность, безграничный патриотизм.

И вот сейчас, когда Панкратов сказал о рапорте по инстанции, Тарасов сразу насторожился, стал перелистывать папку с делом Невского А. Н., потом поднял на Панкратова свои светло-голубые глаза, провел ладонью по ежику волос, подстриженных «под бобрик»: от лба, уменьшаясь к макушке, шел торчащий жесткий «газончик», в который вмешались седины.

— Сам-то берешь ответственность за этого «зека»?

— Конечно, беру. И военком взял ее на себя. Верит, как и я, парню.

— Ну, тогда закрывай дело, только помни, что в данном случае я — в стороне. И если контрразведка в случае чего усмотрит какое-нибудь наказуемое по военному времени деяние по отношению к гражданину Невскому,— слово «гражданин» Тарасов подчеркнул интонацией,— вся ответственность ложится на тебя, старший лейтенант.

Всегда помни об этом. И мое предостережение и возражение тоже не забывай.

Панкратова начинала уже раздражать эта подстраховка Тарасова. Казалось, майор не просто беседует, советуется, обсуждает, а читает уставные параграфы, составленные казенным канцелярским языком: «наказуемое», «деяние», «усмотрит»...

Старший лейтенант готов был вспылить, сказать Тарасову дерзость, грубость, но сдержался.

После небольшой паузы майор таким же уставным языком выложил Панкратову ошеломившую его новость:

— Ты рапортом по инстанции хотел меня припугнуть, так знай, я просмотрел еще раз дело гражданина Невского, и, считая ход следствия в корне неправильным, и, больше того, уводящим от поисков истины, написал начальнику управления на тебя, Панкратов, свой рапорт. Завтра к десяти ноль-ноль тебе приказано явиться к начальнику управления на собеседование. А пока можешь быть свободным.

«Так вот он какой, майор Тарасов»,— выйдя из кабинета, как-то сразу потускнев, растерявшись от этой коварной неожиданности, размышлял Панкратов.

Он знал, что начальник управления, уже немолодой, страдающий язвой желудка полковник, всегда прислушивается к Тарасову, с которым они вместе в пору их молодости работали где-то на Волге в ЧК. Однажды кадровик управления даже проговорился, что начальник управления собирается комиссоваться по болезни и на его место якобы метят Тарасова. Панкратов понял, что против Невского будет обязательно возбуждено уголовное дело, а оперуполномоченному Панкратову после этого следует ждать крупной неприятности. И эта мысль даже в какой-то мере успокоила и обрадовала его. Уж теперь-то его рапорт с просьбой отправить на фронт обязательно удовлетворят.

Тарасов неплохо знал свою работу, выполнял ее точно, хотя и без особого усердия. Зато умел классически поднести ее, показать себя даже в самом малозначительном, создавая тем самым о себе мнение человека инициативного, всецело отдающего себя делу, не жалеющего для этого сил, времени и даже здоровья. Это был опытный, хитрый, изощренный демагог, избегающий всякими способами щекотливых ситуаций.

С таким человеком Панкратову было не только бесполезно, но и далеко небезопасно отстаивать свою точку

зрения, и в то же время нужно было как-то, каким-то способом выручить из новой надвигающейся на него беды Невского — этого молодого, немного безрассудного, отчаянного, но, несомненно, честного парня.

Выйдя из здания управления, Панкратов сразу же направился в госпиталь, куда дежурный пропустил его беспрепятственно, зная, что такие, как он, люди появляются по какому-то важному делу.

Невский, радостный, с только что выданными ему на медкомиссии документами, столкнулся в коридоре по дороге в палату со старшим лейтенантом.

— Здравствуй, Невский, чего это ты такой веселый, не именинник, случаем?

— Вы просто угадали, товарищ старший лейтенант. Признали меня годным к строевой, буду выписываться и завтра с утра в военкомат за направлением на фронт,— ликуя, весь как-то светясь, делился Сашка своей радостью с Панкратовым.

— Что ж, поздравляю от души. Только надо где-то с глазу на глаз поговорить.

И мгновенно перед Панкратовым исчез только что сиявший восторгом парень в наспех запахнутом, коротковатом для его роста халате. Теперь стоял другой Невский с побелевшим растревоженным лицом, с широко открытыми в ожидании чего-то глазами.

— Эх ты, всполошился,— осторожно, бережно положил на плечо Саше руку старший лейтенант.— А еще воевать собрался. Ничего страшного, боец Невский, успокойся. Все страшное теперь позади.

В ленинской комнате они сели за столик около окна.

— А теперь, Невский, слушай меня внимательно и спокойно и делай то, что посоветую. Тут опять загвоздка с тобой возникает. Не буду скрывать, дело тебе снова хотят пришить. Но это еще надвое сказано, это мое предположение. Потому, не откладывая, дуй к военкому, оформляйся и сразу же просись в ЗСП — это стрелковый полк. Он у нас в городе расположен, недалеко тут, за станцией. Там примешь присягу и просись, чтобы отправили с первой же маршевой ротой. Все это надо сделать как можно быстрее. С военкомом я хорошо знаком, позвоню ему, объясню все, что надо, думаю, поможет.

— Выходит, опять за рыбу деньги, опять старое ворошить?— упавшим, каким-то тусклым голосом спросил Невский.

— Ничего подобного! Все будет в порядке и, пожалуйста, не паникуй, а делай так, как я советую, и не тяни резину, если не хочешь, чтобы действительно началось возвращение к этому старому. Подумаешь, какому-то одному бюрократу, формалисту взбрело в голову устраивать теперь никому не нужную дополнительную проверку Что же, из-за этого ты, выходит, снова должен страдать? Ведь война идет тяжелая, суровая, тебе страну защищать надо, а не под следствием торчать. Иди, Невский Александр, торопись. А пока прощай. Я тоже скоро буду на войне, может, еще и встретимся где-нибудь когда-нибудь.

* * *

Поздним февральским вечером, когда гудела-гудела метель, гремя оторванным на крыше листом железа и жутко завывая в трубе, в окошко домика Невских кто-то постучал.

Мать Александра Невского — Дарья Ивановна сидела наискосок от окна и в неярком высвете лампы-семилинейки перебирала остатки фасоли, разделяя ее на две половины: крупную, блестящую отбирала в одну сторону на семена, ту, что помельче, подряблее — в другую, для еды Вначале на стук в окно она не обратила внимания гудит-сердится метель, может, черемуховой веткой царапнул ветер по стеклу. Но через некоторое время стук повторился, и на этот раз сильнее и настойчивее.

«Кого несет в этакую непогодь?» — подумала Дарья Ивановна и, убрав седую прядь волос, спавшую на лоб из-под шали, направилась в сени. В открытую дверь метель швырнула ей в лицо добрую пригоршню мягкого снега, залепив глаза.

— Это я, тетя Даша, Феня. Не достучусь, думаю, спите, а свет горит,— говорила она каким-то чужим, срывающимся голосом.

— И чего бы в этакую непогодь, дело какое срочное?

Феня Федорова мешком упала на табуретку около стола, и тут Дарья Ивановна заметила ее неузнаваемо изменившееся лицо — мокрое от снега, бледное, с дрожащими губами. И вдруг та припала головой к столешнице и сначала тихо, тоненько, потом во весь голос завыла

— Христос с тобой, Феня,— трясла ее за плечи испугавшаяся Дарья Ивановна.— Что стряслось-то, говори, не голоси.

— Сашу убили. Катя-почтальонка боялась вам повестку давать. Я два дня держала ее, тоже боялась...

Дарья Ивановна, ухватившись за край столешницы, на подкосившихся ногах медленно опустилась на пол.

— Это я, из-за меня погиб Сашенька. Я во всем виновата. Из-за меня и судили его...

Керосин в лампе выгорел, чадно вонял фитиль, а две женщины — седая, старая, с высохшим в военное лихолетье лицом и вторая, молодая, в самом расцвете сил и женской красоты,— убитые внезапным горем, молча сидели в выстывшей к рассвету прихожей. Метель все злилась, по всем приметам не обещая скорой тишины...

«Ваш сын (отец) Александр Николаевич Невский, мл. лейтенант, 1923 г. рождения, защищая Советскую Родину, верный присяге и воинскому долгу, пал смертью храбрых. Похоронен в братской могиле на городском кладбище в г. Познани, в Польше».

В 1965 году на площади около Дома Советов открыли монумент Славы в виде устремленной вверх стелы. У ее основания на голубоватой мраморной плите были высечены имена трехсот бойцов и командиров, не вернувшихся с войны, и среди них —«Невский А. И. младший лейтенант. 1923—1945 гг.».

К монументу часто подходят старенькая, почти совсем слепая Дарья Ивановна и Феня Федорова с мальчуганом, у которого записано в метриках: Невский Александр Александрович.

1984—1986 гг.

Пятеро в блиндаже



В полдень к дому колхозного сторожа Ивана Подсолнушкова нежданно-негаданно нагрянули сначала трое юных следопытов из местной школы во главе с вожатой Нюсей Заботкиной, а вслед за ними подкатил газик, из которого вышли грузный пожилой председатель колхоза Степан Затеев и секретарь партийной организации Иннокентий Комаров.

Иван Подсолнушков — человек средних лет, с густой сединой на висках, припадая на деревянный самодельный протез, вышел навстречу гостям из огорода с полным решетом огурцов и помидоров, только что сорванных с грядки.

Затеев энергично пожал ему руку и торжественно пробасил:

— Кто бы думал, что рядом с нами живет да помалкивает себе настоящий герой войны! Ну, поздравляю тебя, Иван Петрович!

Председатель так и не сказал, с чем именно поздравляет Подсолнушкова. Но тут в разговор вступила пионервожатая Нюся.

— Многоуважаемый товарищ Иван Петрович Подсолнушков,— с оттенком торжественности и в тон Затееву заговорила она по явно заранее заученному тексту,— наш отряд юных следопытов в результате поиска узнал о вашем подвиге в годы Великой Отечественной войны. И вот в газете об этом напечатано,— закончила Нюся неожиданно просто и как-то по-детски радостно.

Подсолнушков засмущался, даже порозовел лицом

— Да какой я герой, какой там подвиг, напутано что-то,— глухо проговорил он, разворачивая поданную Нюсей Заботкиной газету. Пробежав первые строки, сразу же посерьезнел, и по мере чтения лицо его бледнело. Подсолнышков зарыдал.

— Да что ты, Иван Петрович, что с тобой?— кинулся к нему Комаров.— Успокойся, ради бога. Тут радость у тебя такая, а ты...

Стали успокаивать Ивана Петровича Затеев, Нюся с пионерами.

Подсолнушков свернул газету и вытер тыльной стороной ладони слезы:

— Всем вам спасибо, а только сейчас не смогу я разговаривать. Уж, пожалуйста, простите.— И, опираясь о перила крыльца, застучал по ступенькам протезной колодкой.

— Ты, Петрович, успокойся, не тревожься,— сказал ему Затеев.— Вся твоя военная биография теперь на всю, считай, страну прояснилась. Может, даже награда тебя ждет.

Подсолнушков еще раз сердечно поблагодарил гостей, извинился, что не может пригласить их в дом, и устало перешагнул через порог.

Пока не стемнело, он нет-нет да и прочитывал в десятый и в двадцатый раз газетную статью и находил в ней все что-то новое, мысленно уносившее его к той далекой, теперь навсегда ушедшей суровой военной юности.

Спал он в ту ночь урывками, часто просыпался и, не зажигая огня, брал с табуретки, поставленной у кровати, папиросу. Закуривал, а покурив, отхлебывал из емкой алюминиевой кружки густой завар холодного чая.

Разбередила, растревожила газета воспоминания.

...Вот жаркий летний день. Иван Подсолнушков видит себя идущим в райвоенкомат, полным радостных надежд. И хотя он смертельно устал и сильно отощал за время дальней дороги, сердце его радостно билось при мысли, что теперь все окончательно выяснится и его перестанет угнетать постоянная мысль, что он не трус и дезертир, не предатель. Теперь у него такие документы, что каждый поймет, в какой невероятной обстановке он оказался в плену. Теперь, может быть, посмертно будут названы имена его погибших товарищей. И их родных Иван со временем обязательно разыщет.

Робея и волнуясь, Подсолнушков перешагнул порог кабинета военкома.

— Разрешите обратиться, товарищ старший лейтенант,— по-военному произнес Подсолнушков.

— Слушаю,— ответил тот, оторвавшись от чтения какой-то бумаги.

— Тут такое дело, что в двух словах не обскажешь. Вот в этих бумагах все сказано...

Старший лейтенант взял папку с пожелтевшими, пахнущими землей и тленом, ветхими, готовыми вот-вот рассыпаться бумагами.

— А все же в чем дело?— прикрыв бумаги, спросил старший лейтенант.— Что за бумаги, откуда они и зачем?

— Короче говоря,— откашлявшись, проговорил Иван,— моя фамилия Подсолнушков Иван. В сорок первом осенью нас пятерых вместе с батальонным комиссаром товарищем Белоконем засыпало в блиндаже. Мы кое-как откопались. Комиссар погиб, а перед этим написал вот это письмо,— кивнул Иван на папку.— Письмо мы закопали, а я после плена откопал сумку, в которой были эти бумаги. Все ребята погибли. Вот и вся история,— с глубоким вздохом закончил он.

Старший лейтенант теперь с нескрываемым интересом смотрел на Ивана. Он помолчал, о чем-то раздумывая, потом внимательно посмотрел на бумаги и спросил:

— Ну, а конкретно что от меня требуется, какая помощь?

— Видите ли, товарищ старший лейтенант, вам надо сначала прочитать эти бумаги, а что будет неясно, я поясню. Что был я в плену, это так, но опять же не добровольно ведь сдался. Но самое главное в том, что в историю эту любому трудно поверить.

Дверь в кабинет военкома несколько раз открывалась, и старший лейтенант всякий раз отвечал посетителям, что он занят.

Рассказ Подсолнушкова заинтересовал его своей невероятностью, и когда Иван закончил его, за окнами стало уже темнеть, рабочий день давно кончился.

— Вот что, Иван Петрович,— дружески положив на плечо Подсолнушкову руку, сказал старший лейтенант,— оставь мне свой адрес, все свои координаты, мы постараемся дать этим документам ход через Москву, через наше министерство. А ты пока иди, работай спокойно.

Вот так перебирал в памяти Иван Подсолнушков историю с документами до самого рассвета. Пятнадцать лет находились эти бумаги где-то. Может, просто лежали в архиве до того времени, пока какой-то человек не обратил на них внимания. Он-то скорее всего нашел Ивана — этот приезжий майор, и напечатал про пятерых советских бойцов в газете по этим бумагам и рассказу Ивана,

который записал старший лейтенант из военкомата, и затем этот же майор, приезжавший к Ивану.

Первые три года временами наведывался в военкомат Подсолнушков, и всякий раз как бы невзначай в разговоре спрашивал о судьбе бумаг. Старший лейтенант слегка хмурился, отвечал, что пока молчит Москва, и обнадеживал Подсолнушкова, что обязательно будет ответ.

Придя в очередной раз в военкомат, Иван застал там другого военного в звании капитана, который сказал, что старший лейтенант переведен по службе в другое место, а в какое — точно не знает, слыхал, будто куда-то в Красноярский край.

Крепко жалел первые два-три года Иван, что потерялись такие дорогие для него документы, всякое передумал о их судьбе, а потом махнул рукой: видать, никого не заинтересовали они. Да и мало ли за войну подобных случаев происходило!

Уже рассвело, Иван встал, умылся, согрел чай. Сегодня ему выходить на целые сутки на дежурство. Перед тем как сесть за холостяцкий свой стол, он еще раз пробежал газетную корреспонденцию. Все точно изложил майор В. Попов. Корреспондент окружной военной газеты будто сам был участником тех невероятных событий сентября сорок первого года.

* * *

А драматические события развернулись так.

Стрелковый поредевший в боях полк с тяжелыми боями отступал от самой границы. Стоял конец светлого листопадного сентября. В один из таких дней сильно поредевшие батальоны ночным маршем оторвались от противника и достигли высотки, поросшей редким сосняком. Здесь командование решило оставить третий батальон, который задержит противника, а полк займет оборону за рекой.

Красноармейцы батальона сразу же стали рыть траншеи на западном склоне высотки, а на восточном, который обрывался пологим яром,— устраивать блиндажи. Работали весь остаток дня и всю ночь. И едва на заре успели замаскировать ветками и листвой брустверы траншей, как внизу, на дороге, появились немецкие танки, за которыми тремя колоннами двигались мотоциклисты и серо-зеленые фаланги пехоты.

На наблюдательном пункте рядом с командиром треть-

его батальона капитаном Нечунаевым стоял батальонный комиссар Василий Белоконь.

— Как думаешь, комиссар,— не отрывая глаз от бинокля, спросил Нечунаев,— удержим высоту, пока наши укрепятся?

— Обязаны удержать. Но боюсь, как бы немцы не окружили. Ведь связи с левым соседом до сих пор нет,— ответил он и углубился в карту.

Танки с ходу начали стрелять по высотке. В сосняке разорвались мины, затрещали срезанные осколками ветки, посыпалась хвоя. Пригнувшись, Нечунаев торопливо зашагал к траншеям, чтобы руководить боем.

В это время недалеко от Белоконя взметнулся фонтан земли, поднятый снарядом, и он почувствовал удар в голень левой ноги. Осколок разорвал хромовый сапог, и из отверстия полилась кровь.

К комиссару подбежал ординарец младший сержант Михаил Попов и, взвалив на плечи как-то сразу обмякшее тело Белоконя, понес его к крайнему блиндажу.

В блиндаже у телефона сидел щуплый светлобровый курносый красноармеец Ваня Подсолнушков. Рядом с ним огромного роста чубатый старшина Игнат Ващенко вскрывал патронный ящик.

Когда Попов закончил перевязку раненого, в блиндаж вошел молодой сероглазый лейтенант в новом обмундировании.

— Товарищ батальонный комиссар, лейтенант Кузеев после окончания училища направлен в батальон для прохождения дальнейшей службы,— четко отрапортовал он.

— Хорошо, лейтенант,— сказал Белоконь. Он хотел добавить еще что-то. В это время тяжелый снаряд разорвался рядом с блиндажом, обвалил яр и засыпал дверь.

Оглушенные взрывом, все находившиеся в блиндаже на какую-то минуту оцепенели.

— Завалило дверь,— крикнул старшина. Он стал изо всех сил толкать ее своим могучим плечом. К нему подошел Миша Попов. И теперь вдвоем они стали упираться в нее.

— Подсолнушков,— послышался голос комиссара,— немедленно свяжись с первым.

Тот стал крутить ручку телефонного аппарата, кричать в трубку.

— Индукции нет, обрыв, товарищ капитан.

Сказал это Подсолнушков испуганно-дрогнувшим голо-

сом, и всех вдруг охватила тоска безвыходности, каждый, содрогнувшись в душе, подумал о смерти — такой нелепой. Но оцепенение длилось всего минуту-другую.

Старшина зажег спичку и стал что-то разглядывать в углу.

— Есть «катюша»,— сказал он и засветил лампу из снарядной гильзы. Темнота отступила, стало видно бревенчатые стены, накат потолка. Старшина начал водить «катюшей» по стенам, по потолку. В одном месте пламя заколебалось. Там в блиндаж поступал воздух.

Белоконь сел на лежанку, протянув раненую ногу.

— Давайте обсудим наше положение. Сейчас каждый понимает, что мы отрезаны от своих, не знаем обстановки там,— он указал пальцем на потолок.— Как только отобьют фашиста, нас, конечно, сразу же отроют,— и после небольшого раздумья добавил:— Если, конечно, успешно отобьются. Но и самим надо что-то делать.

— По-моему, надо ломать дверь и откапываться, иначе можно задохнуться,— подошел к капитану лейтенант.

— Вот это уже деловой разговор,— оживился комиссар.— Мы с вами — боевое подразделение Красной Армии и будем защищать до конца этот клочок нашей земли. Даже под землей. Товарищ старшина, проверьте запас воды, продуктов, бензина, оружие.

После осмотра имущества выяснилось, что канистра почти полна воды, а лампа заправлена бензином. Собрали два коробка спичек. Из продуктов у старшины оказалось две буханки хлеба, крупа, соль и кольцо колбасы, а из шанцевого инструмента — саперная лопата да кинжал Ивана Подсолнушкова.

Старшина взял лампу и еще раз внимательно осмотрел каждый сантиметр двери, накат потолка, стены. Подумав с минуту, он сказал:

— Одного боюсь — земля в блиндаж не войдет.

Кузеев, тоже что-то прикидывая в уме, шагал, измеряя длину и ширину блиндажа.

— Я считаю, что надо ломать дверь. Ну хотя бы по кусочкам расщепить, а потом делать подкоп, и не прямо, а немного вверх. Получится лаз вроде большой норы.

Это был единственный шанс к спасению. Все сразу же воодушевились и тут же, сберегая каждую минуту отсчитанного им времени, принялись за работу.

Первым ломать дверь начал старшина. Он отщипывал кинжалом куски деревесины, а Миша складывал их в

аккуратную кучку. Решил, что потом они сгодятся, чтобы укрепить земляные бока лаза. До обеда расщепили одну из дверных досок. Но лаз был недостаточно широк. Всю ночь поочередно дробили доски двери, набивая рукояткой кинжала мозоли на ладонях.

Комиссара лихорадило. Укрывшись шинелью, он стучал зубами в ознобе и что-то бессвязно шептал.

— Лекарства бы ему, а еще лучше врача,— вздыхал Миша.

Наконец комиссар заснул. Проснулся довольно бодрым, а может, это была его нарочитая бодрость, чтобы поднять дух товарищей.

Когда все собрались есть, лейтенант, дожевывая хлебную корку, хлопнул ладонью по лбу:

— Товарищи! Я же совсем забыл. Ну просто из головы вылетело. У меня же в полевой сумке мамин подарок.

Он поспешно разыскал свою кирзовую полевую сумку. В ней оказалась четвертинка водки, шоколадка, кулек орехов, аккуратно сложенные носовые платки, носки и белоснежные подворотнички. Лейтенант торопливо и как-то смущенно выкладывал все это на плащ-палатку, будто извиняясь за такую нелепую утайку.

— Это мама вручила, когда провожала на фронт.

Чтобы прервать эту неловкость лейтенанта, Белоконь сказал:

— Ты, лейтенант, расскажи нам, как жил, учился, любил, наверное, кого-то, как страну защищать готовился. Ты же кадровый командир.

— Интересного в моей биографии мало. Отец был ветеринаром. В тридцатом году заразился сапом и умер,— присев на нары, заговорил Кузеев.— Мать — фельдшер. Жили на Тамбовщине в райцентре. Когда закончил десятилетку, решил стать агрономом. И вот однажды познакомился с работником военно-учетного стола военкомата. В гражданскую он воевал с отцом, хорошо его знал и уважал. Как-то сказал он, что войны не избежать и что, мол, мне, молодому здоровому парню, прямая дорога в Красную Армию, учиться на командира. И помог поступить в пехотное училище. Потом война, выпуск в училище. Дальше вы знаете,— со вздохом закончил лейтенант,— не успел даже принять взвод. Немца еще не видел. Все рвался на передовую, боялся опоздать на фронт, а тут такое дело...

— А ты, лейтенант, не отчаивайся! Разве кто-нибудь из нас думает иначе? Да все мы рвемся в бой.

...Копали лаз без передышки. Миша Попов ровным слоем рассыпал землю по полу, утрамбовывая ее сапогами. Самый высокий и широкоплечий, старшина старался делать лаз побольше — под свои габариты. Лаз, хотя и медленно, углублялся, уже не видно было в нем тех, кто копал.

В конце третьего дня Миша вылез из лаза и, размазывая по лицу грязный пот, сказал:

— Чертово дерево встало поперек лаза!

Старшина и лейтенант поочередно обстукали и как могли измерили ствол сосны, упавший, видно, во время взрыва с яра, и после этого решили углубляться дальше. Неожиданное препятствие затягивало нечеловечески трудную работу.

Между тем подходили к концу скудные запасы питания и воды, все чаднее и тусклее светила «катюша».

Комиссар попросил Мишу посветить ему. Он разбинтовал ногу и, нажав пальцем на кожу ступни, сказал шепотом:

— Ни слова ребятам, Михаил. От гангрены одно спасенье — ампутация, а здесь не медсанбат, не госпиталь...

Но несмотря на это страшное, роковое открытие, Белоконь был по-прежнему бодр, по часам устраивал подъем и отбой, завтрак и ужин, рассказывал интересные истории и даже иногда тихонько напевал.

— Теперь твоя очередь, старшина, рассказать о своем житье,— сказал он после очередного ужина.

Вытянув на полу ноги, старшина с минуту подумал.

— В роду у нас были все кузнецами — и прадед, и дед, и отец,— начал он, выговаривая мягко «г», иногда меняя ударения.— Я года два стукал по наковальне. Потом соблазнился в бродячий цирк и изображал богатыря — ломали у меня на груди камни, гнули рельсы. Все это была, конечно, чистая туфта. А держали меня просто за рост и фигуру.

Ушел из цирка — противно было морочить людям головы. Работал в Киеве на товарном дворе. Был мясником и даже торговал пивом. И когда призвали в Красную Армию, понял, что все прежнее было сплошной чепухой. Остался на сверхсрочную, закончил полковую школу. Думал поступать в военное училище. По житейской части наметил: получу лейтенанта и женюсь.

Он немного помолчал и неожиданно с каким-то воодушевлением закончил:

4 2391

— А сейчас верю, что выберемся из блиндажа и еще повоюем. Ну а если погибать, то за себя скажу так: не одного гада за собой возьму!

Прошло еще несколько часов напряженной работы. Утомленные, усталые, полуголодные, собрались, как и прежде, на ужин у плащ-палатки.

Молча разобрали кусочки хлеба и стали жевать, запивая скудными глотками воды.

Миша работал в это время в лазе. Но вот вылез и он, чтобы уступить место следующему за ним лейтенанту Кузееву.

Отдышавшись, он сказал:

— По моим расчетам, от силы еще полдня, и мы на воле.

Проглотив хлеб, запив его парой глотков воды, он было снова собрался в лаз — оттаскивать землю, но Белоконь остановил его:

— Так ты скоро выдохнешься, а силы надо беречь. Давай, расскажи лучше о себе.

— Эх, закурить бы сейчас,— сказал Миша,— да нельзя. Но наверху отведу душу,— шутливо сказал он,— а биография у меня, как морская тельняшка — то белое, то темное. И так подряд до самой войны. Был я пятым ребенком в семье еврея по фамилии Попов и гречанки и первым мужчиной, остальные — девчата. Учиться отец послал меня не в обыкновенную школу, а в музыкальную. Но скрипка у меня не пошла, как говорил мой первый учитель, не пошло и пианино, как сказала Роза Израилевна — вторая частная учительница. И тогда определил меня отец в музыкальную команду воспитанником. Через три года я уже играл и в разводах караула, и на парадах, и в армейском клубе. Но отец был недоволен, хотел, наверное, чтобы играл его сын в одесской опере, сидел в смокинге с бабочкой на шее.

Однажды в воскресенье играли мы в гражданской одежде на свадьбе. И вот когда один парень крепко меня обидел за маму, что торговала рыбой на рынке, получилась у нас с ним большая драка. Была милиция. После этого из армии меня выгнали и попал я в очень плохую компанию, поймали нас на краже. Отсидел, вышел, решил жить по-честному, но не получилось. Когда отказался воровать, порезали меня.

Выздоровел, стал в море с отцом ходить за рыбой, а осенью сорокового — повестка в военкомат. В армии попал в саперный взвод, служил у границы с Бессара-

бией. В начале войны отступал и попал в окружение, но удачно бежал. И тут опять чуть не схлопотал от своих же пулю через фашистскую робу, в которую переоделся. Взял меня товарищ капитан в ординарцы. Ну а дальше сами знаете.

Все больше густел насыщенный бензиновой гарью воздух в блиндаже, все меньше оставалось сил, все чаще клонило ко сну, тело покрывал липкий пот и примешанная к нему земля образовывала на руках, на голове, на лице постоянно зудящий панцирь.

Иван Подсолнушков выполз совсем обессиленный из лаза, лег на землю и сказал:

— Не могу я больше,— и совсем по-мальчишески, как-то капризно и гнусаво, заныл:— Не выбраться нам отсюда, смертушка ждет.

— Ах ты, молокосос, цыплячья душа твоя,— загремел над ним старшина.— Ты что здесь панику разводишь? Красноармеец ты или паникер вражеский?

Продолжая всхлипывать, Иван мелко дрожал, размазывая по темной земляной маске светлые полоски от слез. И когда до него, наконец, дошли слова старшины о вражеском паникере, он ощетинился:

— Я не паникер вражеский вовсе. Вам, товарищ старшина, стыдно так обзываться.

Тут вмешался Белоконь:

— Послушай-ка, красноармеец Подсолнушков.— Он сел на нарах, опустив вниз лиловую опухшую ногу.— Ты, красноармеец Подсолнушков, защитник нашей Советской власти. Ведь там, наверху, тебя ждут как победителя. И там ты обязан сполна рассчитаться с фашистами за все и даже вот за то, что зарыл тебя здесь немец. А ты, выходит, согласен в этой яме добровольно умереть?

А старшина все не мог унять свой гнев:

— Вот выйдем, и он наверняка таким же трусом будет и легко к фашистам может податься.

— Это кто трус?— вдруг сорвался на фальцет Подсолнушков и, не найдя больше слов, закончил с обидой:— Эх вы, а еще старше меня. Да я бы...— и угрюмо, пристыженно замолчал.

— Успокойся да лучше расскажи про себя. Ты еще не рассказывал,— предложил Белоконь.

Еще не совсем успокоившись, Подсолнушков неожиданно заявил:

— Я на фронт ведь попал обманным путем, чтоб вы знали.

И такое необычное вступление к рассказу сразу развеселило и даже насторожило слушателей:

— Вот это дает! Может, это вражеский разведчик к нам затесался,— начал зубоскалить Миша Попов.— Я давно догадывался, что это переодетый обманщик типа Ходжи Насреддина или барона Мюнгхаузена.

— Перестань, Михаил, пусть рассказывает,— сдерживая смех, сказал Белоконь.— Итак, ты попал на фронт обманом. Как же это?

— А так, что до нормального призыва мне оставалось еще полгода. Дядя Шура тут и помог.

— Выходит, после войны будем судить сразу двух фармазонщиков: тебя и твоего дядю Шуру — за то, что помог юному пионеру подделать документы и из детсада удрать на фронт,— не удержался от новой шутки Миша.

Все засмеялись.

— Если будешь подначивать, не стану дальше говорить,— обиделся солдат.

— Все, братцы, ша.

— У меня в деревне на Алтае мамка и сеструха Зойка, а отец сразу же ушел на фронт. В первый месяц. Я семилетку в Ребрихе закончил и помогал дяде Шуре в райузле связи. Мы радиолинию тянули. Потом оказалось, что кто-то украл пять столбов и моток проволоки. Нас сперва хотели судить, но потом разобрались и, ясное дело, отпустили. Я пошел на свиноферму помогать мамке. Думал хорошую характеристику получить, чтобы осенью в техникум, а тут вскорости война. Вместе с дядей Шурой мы в запасной стрелковый полк попали. Подучились немного и вместе попали на фронт. Я вот связистом стал. Конечно, ни одного оккупанта пока я еще не уничтожил. А дядя Шура погиб.

Солдат помолчал и добавил:

— Да и в плен ни одного фашиста не взял.

И тут опять не выдержал Миша Попов:

— Ох, и опасно тебя, Подсолнушков, пускать одного будет...

— А это почему?— наивно удивился Ваня, не поняв готовящего новое коварство Миши.— Я такой же красноармеец, как и все...

— Такой, да не совсем,— издалека начал Попов,— во-первых, обманул военкома. А ведь тот наверняка стреляный воробей.— Во-вторых, умыкнул эшелон леса

со своим дядей Шурой. Ну, а в-третьих... Ведь тебе сейчас автомат, выпусти наверх, ой, натворишь ты беды, рядовой красноармеец Подсолнушков: тут и трупы фашистов, и опять же пленные пойдут. Нет, страшный ты человек, Подсолнушков.

Дружный смех покрыл последние слова Попова, и когда перестали смеяться, комиссар сказал:

— А ты не сердись. Ведь это дружеская шутка. И воевать ты будешь, я в этом твердо уверен, не хуже любого. И кто знает, может быть, будешь еще героем. Поверь, говорю я это серьезно. Ну, а сейчас главное для каждого из нас — это скорее выбраться отсюда. А там уж каждый покажет себя.

Ни на минуту не прекращалось рытье. Из лаза бойцы выползали утомленные до предела и сразу же впадали в дрему — что-то между сном, бредом и явью.

СКЛАД АВИАБОМБ

На пятый день Белоконь во время ужина сказал:

— Теперь, товарищи, моя очередь. И мой рассказ запомнить должен каждый. Военным я стал в 1930 году. Службу начал на пограничной заставе. Но дело не в моей биографии. Впереди нас ждут смертельные схватки, опасная дорога к своим. Об этом я и хочу поговорить.

Комиссар не договорил. Из лаза показались хромовые сапоги лейтенанта Кузеева. Сияющий, выполз он и, ликуя, закричал:

— Все, друзья! Свобода! Ура!— Стали поочередно обнимать Кузеева за его радостную весть. Ведь не поспешил лейтенант в одиночку выйти на волю погулять, подышать воздухом, поторопился обрадовать всех.

В блиндаж хлынул воздух, от которого защекотало в глотках, закружились головы.

— Что там? День, ночь?— тормошил лейтенанта Миша.— Кто там, наши?

— Внимание, товарищи!— раздался голос комиссара.— Мы ждали этой минуты пять дней. И вот спасены. Но нужно сначала выйти одному, узнать, что там наверху, какая там обстановка. И только потом выйдем все. Старшине Ващенко приказываю выйти на разведку. Остальным проверить оружие и привести его в боевую готовность.

Приказ этот сначала обескуражил каждого, и никто,

кроме старшины, не принял его всерьез. Какая там разведка, на волю скорее! Просто, видать, излишнюю бдительность решил проявить боевой комиссар, своим приказом сразу охладив суматошную радость. Но старшина козырнул, вывалился из лаза и несколько метров катился под откос, пока не уперся в стенку из ящиков. Тогда он встал, переждал головокружение, осмотрелся, отряхнулся.

Была ослепительно яркая лунная ночь. Огромная оранжево-лимонная луна стояла над яром, касаясь верхушек сосен. Ващенко, наконец, увидел снаружи то, что произошло после попадания тяжелого снаряда в кромку яра. Вместе с крайней небольшой сосенкой обрушило на дверь часть яра. Ващенко посмотрел на освещенный луной черный зев лаза в блиндаж и, прежде чем подняться по кустарниковому склону, обратил внимание на ящики, которые стояли штабелями. Обойдя их так, что лунный свет осветил ящики, старшина различил под деревянной обшивкой авиабомбы. И тут послышались шаги, немецкая речь. Ващенко отступил в тень штабеля, затаился. Шагах в пяти прошли двое немецких солдат, и лунный свет отразился на их касках и автоматах.

«Вот он, наш товарищ комиссар,— светлая голова,— подумал старшина, глядя вслед удаляющимся немцам,— ведь как в воду глядел: произвести разведку, привести в порядок оружие. А ведь что бы случилось, вывались мы всей оравой прямо под ноги вооруженным фашистам! Ах, комиссар, комиссар, золотая твоя голова!»

Внизу, за складом авиабомб, проходила дорога, и по ней, урча, двигались автомашины.

Ващенко еще раз внимательно осмотрелся и стал осторожно подниматься к лазу. Когда до него осталось не больше пяти метров, из черной дыры послышался голос Попова:

— Как там дела, старшина? Вроде в какой-то склад попали, пока откапывались.

— Тихо ты, фашисты рядом,— вполголоса ответил старшина.— И давай быстрее выводи комиссара и остальных.

Подойдя еще ближе к лазу, он оторопел: на него смотрела черная маска, на которой виднелись только зубы да белки глаз.

«Неужто и я такой?— подумал он.— Неужто все мы такие страхолюдные? Ведь если фашист увидит такого, наверняка струхнет в первый момент. И тут его можно легко

уничтожить»,— сразу же практично, по-военному рассудил про себя старшина.

Вскоре из лаза показалась голова Белоконя.

Старшина подхватил капитана под мышки и осторожно, чтобы не разбередить его больную ногу, отнес на себе в проход между ящиками с авиабомбами и кромкой склона, а усадив поудобнее, коротко рассказал об увиденном.

— Значит, это полевой склад и его необходимо как можно быстрее уничтожить. Ведь яснее ясного, что отсюда немцы загружают самолеты бомбами. Надо срочно решить, как нам поступить дальше.

Решили прежде всего узнать, как расположен склад, где находится караульное помещение охраны и уж тогда действовать наверняка. И тут неожиданно возник такой простой и вместе с тем трудно разрешаемый в создавшейся обстановке вопрос: как, чем, какими средствами взорвать склад?

Разведывать обстановку пошли Кузеев и Попов. Вернулись они с разных концов склада.

— Караулка у фрицев в двух автофургонах,— доложил Миша,— часовые ходят по определенному маршруту, наверху, сволочи, установили вышку. Рассветает, и нас застукают, как рябчиков.

Доклад Кузеева тоже мало утешал. Оказывается, бомбы размещены для безопасности в трех местах. Если взорвется один склад, два других не пострадают. Сверху склады накрыты маскировочной сеткой, и каждый огорожен колючей проволокой, дополнительными сигнальными устройствами, так что незамеченными туда трудно проникнуть.

— Значит, мы оказались в центральном складе?— спросил капитан.

— Выходит, что так,— ответил лейтенант.— Выше яр, по нему проволока в три ряда.

Проверили оружие. У Белоконя в кобуре был «ТТ» с двумя обоймами, у Подсолнушкова карабин и полная обойма. Кузеев сказал, что пистолета он еще не успел получить. Ващенко вытащил из кармана гранату РГД с осколочным кожухом. Были еще затупленный кинжал да саперная лопатка. А на востоке уже появилась лимонная полоска света и где-то в соснах пробовала свой голос птица. Потянуло свежестью. Потом слева за мелколесьем в километре — не дальше — вдруг на одной ноте загудел мотор самолета. Потом эту грозную стальную мелодию подхватили второй, третий самолеты, готовясь к боевым вылетам.

Капитану становилось все хуже. Дышал он прерывисто, то и дело облизывая сухие от лихорадочного жара губы. Лицо его от грязи и копоти, с седоватой щетиной, со впалыми щеками и висками, теперь напоминало человеческий череп, на котором выделялся заостривший нос, а из глубоких глазниц глядели лихорадочно светящиеся глаза. Гангрена поднималась по ноге все выше, и часы комиссара были сочтены.

Комиссар протянул Кузееву пистолет и полевую сумку.

— Останешься за командира,— приподнявшись на локте, тихо, устало произнес он.— Я больше уже не смогу. Голова... В глазах круги. Скоро конец.

Помолчал, отдышался и продолжал теперь более четко:

— Тут партийные документы батальона, мой партбилет, удостоверение и письмо про нашу беду, про всех нас. Когда дойдете до наших, передайте в политотдел. В случае опасности закопайте надежнее, чтобы потом взять. Ведь наши обязательно вернутся сюда. И пойдут дальше. А в крайнем случае уничтожьте...

Он с трудом перевел дыхание и продолжал теперь еще строже, торопливее:

— Я не знаю устройства немецких бомб, но любая — русская или немецкая — взорвется от детонатора. Теперь нужно как можно быстрее вытащить ее из ящика. Так что за дело, ребята! В этом наша главная сейчас цель.

Бесшумно, вчетвером, сняли с верхнего ряда небольшую пятидесятикилограммовую бомбу и вытащили ее из гладкоструганных предохранительных планок. Это была тупорылая болванка с приваренным стабилизатором из листового железа, в середине которого светлело что-то круглое, вроде этикетки. Кузеев просунул в отверстие между стальными перьями стабилизатора руку, напряженно некоторое время щупал там и осторожно вытащил какой-то светлый предмет, напоминающий пробку. Миша Пилкин рассмотрел на предмете, изготовленном из пластмассы, какие-то буквы. Белоконь, рассмотрев надпись, высказал предположение, что это, мол, своего рода гарантийная бирка: не взорвалась бомба, и по этому шифру можно найти того, кто допустил на заводе брак. Однако его теперь интересовало другое — что же было за этой пробкой: глухая металлическая оболочка или взрывчатка? Кузеев просунул в отверстие зазубренный кинжал, который, войдя до половины лезвия, уперся в довольно мягкую, податливую, явно не металлическую массу. Он покрутил кинжал, и когда вытащил, на лезвии светлела взрывчатка.

Ссыпав крупицы ее на ладонь, он радостно сказал:

— Считайте, что уже наполовину выполнена боевая задача. Теперь гранатой взорвем бомбу.

Тут снова подал голос умирающий комиссар:

— Всем уходить. Бомбы взорву сам, сил на это хватит.

Однако никто не двинулся с места.

— Да вы что, очумели? Скоро рассвет, приедут автомашины за бомбами. Приказываю немедленно уходить! Меня вам не унести, да и бесполезно. Я скоро умру, я уже наполовину мертвый,— неожиданно строго, как-то весь напрягшись, сказал он.

— Прощайте, товарищ комиссар,— сказал старшина и поцеловал этого мужественного человека.

Вытирая слезы, Подсолнушков обратился ко всем:

— Как же одного-то оставлять фашистам? Нельзя так, как же он один будет?

— Иди, иди, солдат, скорее. Ты же обещал отомстить фашистам,— ласково сказал Белоконь и потрепал красноармейца по щеке:— Ты еще героем будешь, вся война у тебя впереди.

И когда все простились и стали цепочкой подниматься на яр, за штабелем бомб послышалась непривычно картавая, немецкая, речь. Судя по звуку, шли именно сюда, к этому проходу. Поднимавшийся на яр последним Миша нечаянно свалил кусок глины, который шумно скатился вниз и стукнулся о штабель бомб. Немцы мгновенно остановились, прислушиваясь, один из них скорее спросил, чем окликнул: «Хальт!» Фашисты должны были теперь выйти прямо в проход, где остался Белоконь, и первым это понял Ващенко.

— Вперед, бегом! Я отвлеку фашистов,— приказал он.

И когда все трое скрылись за гребнем, старшина подобрал сосновый сук и швырнул его за ящики в противоположную от комиссара сторону. Сук громко застучал по ящикам, и немцы мгновенно бросились туда. А Ващенко тут же поднял пробитую осколком каску и бросил ее за штабель немного левее и дальше того места, куда упал сук. Однако продолжать эту опасную игру дальше было бессмысленно, и Ващенко принял новое отчаянное решение, опасаясь, что у комиссара что-то не получилось со взрывом, а может, он нарочно оттягивал время, чтобы подальше успели уйти ребята, или вконец обессилел смертельно больной человек. Ващенко собрался броситься в проход, чтобы в рукопашной добыть автомат. В этот момент часовой на вышке заметил его и послал над головой автоматную очередь.

Старшина в несколько прыжков оказался внизу, в первом проходе между штабелями, при этом нечаянно ударился плечом о ящик. «Только бы встретиться один на один с фашистом»,—лихорадочно думал он, еще не представляя себе до конца этот неравный поединок с вооруженным немцем, где, как ему казалось, важнее всего было проявить внезапность — прыжок, удар, а уж с автоматом он казался себе сильным, метким и неуязвимым. Но военная удача отвернулась от старшины. Сделав короткую перебежку по проходу, он затаился за углом штабеля, прислушиваясь к шагам и голосам фашистов. И в это время с яра, с вышки закричал часовой, который, увидев Ващенко, указывал другим его нахождение. Ващенко сначала не придал значения этому крику, где то и дело слышались слова «линкс» и «рекс» («налево», «направо»). Когда он сделал очередную перебежку и ждал появления немецких солдат из-за прохода, чтобы неожиданно на них обрушиться, в этот момент в затылок ему жестко уперся автоматный ствол и, как выстрел, прозвучало «хальт» и «хенде хох».

СМЕРТЬЮ СМЕРТЬ ПОПРАВ

С того момента, как капитан Белоконь остался один, он подполз поудобнее к бомбе и стал вставлять запал в отверстие от вынутой пробки. Но руки дрожали, а глаза то и дело закрывал кроваво-красный туман. И тогда ему казалось все вокруг окрашенным зловещим туманом. Его знобило, плохо слушалась шея. Капитан понял, что вставить запал в отверстие в бомбе он не сможет. И тогда решил просто приставить туда всю гранату и взорвать ее. Граната тут же, но он слишком резко повернулся, протягивая к ней руку. От этого красное в глазах вдруг медленно, потом все быстрее стало кружиться, в ушах появился звон. Потом началось мерцание: красное стало чередоваться с аспидно-черным, и, теряя сознание, Белоконь с ужасом в какое-то последнее мгновение спросил себя: неужели это конец? Так он и остался лежать на боку, сжав в одной руке запал, в другой — гранату.

Но Василий Белоконь не умер. Медленно, слабыми толчками запульсировали на висках голубенькие жилки, дрогнули веки, и, будто вынырнув из холодного омута, он вздохнул наконец полной грудью. Взор прояснился. Перед глазами что-то рябило. Белоконь сначала не понял, что это такое, а по мере того, как проходило обморочное состояние и появилось сознание, разглядел маленький

поздний полевой цветок, уцелевший среди нагромождения ящиков с бомбами, чудом обойденный кованым сапогом фашистских часовых. Цветок легонько покачивался на тонком стебельке у самого лица.

Где-то Белоконь видел такой цветок в той далекой довоенной и в этот час почему-то совсем некстати приблизившейся жизни. И это воспоминание вдруг ослепительно ярко мелькнуло в памяти.

...Была такая же поздняя журавлиная осень в родной приречной долине на Алтае. Пожухли травы, и едва редели темно-коричневого цвета листья на кустарнике, на черемухе.

Вася Белоконь, тогда курсант комполитпросветшколы, возвращался в городок на берегу Иртыша из пригородного села, где проводил практические занятия в избе-читальне. Серой была приречная долина, серым — небо и таким же неприветливым, бесцветным Иртыш, отражавший низкое небо, где табунились дождевые тучи. От реки тянуло сырой, знобкой свежестью. Белоконь вышел из избы-читальни, где работал и спал по ночам. Пройдя сотню шагов, почувствовал в левом сапоге маленький камешек, попавший туда, наверное, вместе с портянкой. Парень решил переобуться подальше от деревни, от посторонних глаз. Но по дороге то и дело встречались подводы или пешеходы. И вот теперь у излучины Иртыша он нашел укромное местечко, где будто по заказу сама природа сделала удобную приступку. Вытряхнул портянку, переобулся и увидел совсем рядом светло-сиреневый, с золотым венчиком посерединке, цветок. Был он без запаха, этот удивительный, неброской красоты последыш лета, и упрямо цвел среди позднего октябрьского увяданья.

У Белоконя эта осень была наполнена радостными событиями, такими, как вступление в партию, получение свидетельства об окончании комполитпросветшколы и призыв в Красную Армию.

На проводы в Красную Армию букетик точно таких же цветов ему преподнесла Даша. Белоконь, смутившись до слез, почему-то сунул его в карман. Все это сейчас промелькнуло, пронеслось в памяти таким милым и дорогим.

...Комиссар с трудом приподнялся на локте, не выпуская запала и гранаты. В ушах кончился звон, и будто через какую-то прорванную пленку он услышал автоматную очередь с вышки и крики немецкого часового. «Значит, ребята не сумели уйти незамеченно, а может, их уже схватили? Но тогда почему не слышно перестрелки? Ведь у наших пистолет и карабин. Неужели перепугались и подняли руки?

Нет, такого не могло быть. Но тогда что же там происходит, о чем кричит с вышки часовой?»

Между тем уже совсем рассвело. Сквозь нашитый на маскировочной сетке камуфляж над складом авиабомб виднелось постепенно голубеющее небо. День обещал быть ясным, погожим. С полевого аэродрома один за другим поднимались фашистские самолеты.

Наконец Белоконь вставил запал в гранату и вложил ее в стабилизатор бомбы. Теперь оставалось вырвать чеку. Сил на это хватит. Должна же получиться детонация! Должен взлететь к чертовой матери этот склад вместе с охраной, с той вон проклятой вышкой на яру, откуда что-то каркает часовой, будто подавая команды. Стрелять он наверняка боится, чтобы не попасть в бомбы или в охрану. А может, немцы хотят взять ребят живьем?

А как бы он, кадровый командир, член ВКП(б), поступил, будь совершенно здоровым? Пошел бы с группой, оставив с гранатой лейтенанта Кузеева или старшину, приказал бы умереть Пилкину или Подсолнушкову во имя Родины, военной присяги? Сам бы пробился, прополз через минные поля, колючую проволоку, многочисленные посты и доложил командованию, что выкарабкался из засыпанного взрывом блиндажа и вот теперь явился для прохождения службы...

Белоконь вспомнил, как однажды с опушки леса вышло пятеро окруженцев, сумевших пробиться к полку. Начальник особого отдела майор Вершинин построил их тут же на опушке — обросших, оборванных, еле державшихся на ногах, но с винтовками.

— В Красной Армии нет военнопленных и не может быть. Есть только предатели и фашистские агенты, завербованные оккупантами,— кричал майор эти беспощадные страшные слова и размахивал маленьким браунингом под носом красноармейцев, перепуганных, оробевших, оглушенных неожиданной бедой, свалившейся на них только за то, что впятером из трехсот убитых и угнанных в плен им удалось вернуться в родную свою армию живыми.

Нет, никто не поверил бы Белоконю, что целых пять дней, казавшихся вечностью, задыхаясь, голодные, они без устали копали лаз, чтобы выйти из этой страшной ямы и снова до конца бороться с фашистами. Да разве сам Белоконь мог поверить кому-то в подобном? Уж больно все складывалось, как в совершенно невероятном приключении.

Между тем часовой на вышке кричал в телефонную трубку, и комиссар разобрал слово «партизан». У вагончиков

сыграли боевую тревогу. Залаяли овчарки. Рассыпавшись в цепь, солдаты охраны с автоматами наизготовку начали проческу складов. Белоконь теперь думал о том, чтобы снова не потерять сознание. Теперь нечего было думать о спасении ребят. Теперь, если взрыв не получится, их ждет самое страшное — медленная мучительная смерть в плену. И, сосредоточив всю силу воли, он вырвал чеку. В гранате раздался совсем негромкий щелчок, и по трубке запала к детонатору побежала огненная змейка, которую никто на белом свете не смог бы теперь остановить...

* * *

Как только Кузеев, Попов и Подсолнушков спустились в низину и затаились в низеньком чахлом подлеске, дожидаясь старшину, Подсолнушков вдруг сказал, что дальше он не может идти, что у него на стертой ноге образовался нарыв. Должно быть, от того, что не переобувался все эти дни. Поэтому он решил остаться здесь, чтобы чем-то помочь комиссару взорвать вражеский склад.

— Да он совсем сошел с ума, товарищ лейтенант!— возмутился Миша.— Этот псих, наверное, хочет «хенде хох» сделать. Ах ты, недорезанный кулак!

— Чего он лается, как дурак,— возмутился обиженный Подсолнушков, обращаясь к лейтенанту.— Сам он кулак. Я же русским языком говорю, что нарыв у меня на ноге и ботинок снять не могу. Куда я, хромой, с вами?

— Видал, лейтенант, он ботинок снять не может. А ну, скидовай сапоги, как говорил Яшка-артиллерист. (Даже в подобной обстановке Миша сострил.) — Я тебя тут же кончу, если врешь, подкулачник алтайский.

— Прекратить!— приказал Кузеев.— Там, видать, что-то со старшиной непонятное, и капитан молчит, а вы скандалите.

Подлеском спустились к дороге и в стороне от нее направились на восток. Подсолнушков на первом же привале с помощью Миши снял, наконец, ботинок. На пятке образовался гнойный нарыв и, выдавив его и обмотав рану сначала носовым платком Кузеева, потом обмоткой, Подсолнушков, кряхтя от боли, зашагал несколько бодрее.

Поднялось солнце, в стороне оживилась дорога. Решили свернуть в овраг, чтобы переждать до ночи. Но как только спустились на его дно, сразу же зажали носы от смрада: у левого склона, сваленные сверху, разлагались трупы красноармейцев. Их расстреливали на краю оврага.

— Ах, змеи, подлюги, гранату в рот вам, паскудным,—

ругался Миша.— Скоро все сортиры вами, фашистская падаль, завалим, землю марать не будем. Что с людьми делают, а?

Миша перемешивал это с замысловатым одесским матом. От голода, от всего пережитого он был необычайно возбужден. Через кустарник подошли к обгорелой автомашине-полуторке.

— Приметное место,— сказал после некоторого раздумья Кузеев,— кажется, лучше нам не найти. Я это к тому, что дальше опасно идти с сумкой комиссара, надо ее понадежнее спрятать.

Сумку обернули куском брезента, подобранного около разбитой автомашины, и закопали под корнями приметной, разветвленной сосны, тщательно утрамбовали, разровняли это место, для большей маскировки набросали сверху сучьев и припорошили опавшей листвой. Чтобы сосна была еще приметнее, ствол ее обвязали на высоте вытянутой руки куском полевого провода.

Кузеев, отойдя на шаг от этого места, строго и как-то торжественно сказал:

— Впереди у нас трудная дорога. Всякое может случиться, но кто-то из нас останется живым. И вот он обязан выкопать сумку и передать в политотдел любой части. Запомните: мы где-то около Богушевска, севернее Витебска.

— Будь спокоен, лейтенант, найдем сумочку, доставим куда надо. А сейчас бы покушать,— сказал Миша и похлопал себя по животу.

И в это время дрогнула земля. С сосны посыпалась хвоя, прошелестело ветерком в кустарнике. Над вышкой, видневшейся примерно в километре, поднялся аспидно-черный, с ослепительно-желтой молнией внизу, султан.

— Все! Боевой приказ выполнен!— побледнев, прошептал Кузеев.— Будем всегда помнить наших товарищей капитана и старшину. Они погибли героями.

КРИГ ГЕФАНГ

Их взяли сонными в сарайчике на окраине маленькой — в десяток домиков — деревушки, стоявшей на берегу Западной Двины. Двое полицаев и немец из полевой жандармерии подняли их пинками. Подсолнушков жалобно крикнул:

— Ой, мамочка, за что же так?

— Счас тебе будет мамочка и папочка,— оскалился полицай в светлом драповом пальто, явно с чужого плеча,

подпоясанном немецким ремнем, на пряжке которого значилось «С нами бог».

— Давай, давай, сучий потрох!— заговорил Миша.— Гуляй пока. Но помни, тварь, наши вернутся — не пожалеют, а фашистам ты, гнида, не понадобишься.

— Но-но, ты,— начиная звереть, зарычал полицай.

Миша нагнулся, будто поправляя штанину, и неожиданно резко, точно пружина, распрямился, ударив полицая головой в лицо приемом, которому он был обучен в Одессе. Все на секунду оцепенели от неожиданности. Полицай, икнув, упал, а Миша опять приемом, не почитаемым даже в блатном мире, сделав вилкой указательный палец и мизинец, резко ткнул ими в глаза второму полицаю. И когда тот, дико взвыв, схватился ладонями за лицо, немец-жандарм нажал спусковой крючок автомата и выпустил в Мишу и Кузеева весь рожок. И в эти краткие мгновения, пока полицаи стирали кровь с изуродованных лиц и когда прогремела автоматная очередь, Ваня Подсолнушков на четвереньках прошмыгнул за двери, метнулся за дровяную поленницу и дальше, как-то машинально оказался на крыше сарая. Он затаился, сжался, зачем-то считая оглушительные удары сердца, которое, оказывается, билось в горле, где-то в висках и ушах.

Почему-то его не стали искать, и, когда стало темнеть, Подсолнушков осторожно спустился с крыши. Первым его желанием было сразу же исчезнуть из деревушки. Пригибаясь, он затрусил в сторону леска мимо пустого огорода с кочерыжками от убранной капусты, с кучами ботвы и ярко-зелеными охапками морковника. На одном из кочанов уцелел сломанный сизоватый капустный лист. Несмотря на только что пережитое, его тошнило от голода. Ваня оглянулся и быстро, как только позволяла больная нога, шагнул к этому месту, сорвал и торопливо сунул в рот прохладный хрупкий лист, пахнущий родным домом. В эту пору обычно идет засол капусты на зиму. Запах ее стоит в избе, в сенях, в погребе, капустой пахнут руки и даже волосы. Ваня и сестренка Зоя нетерпеливо ждут, когда мать протянет им квадратные кочерыжки. Их ребята ловко остругают складешками, и потом начинается азартное хрумканье этого лакомства, от которого, случается, пучит брюхо.

Проглотив пресную капустную кашицу, Ваня, осмелев, решил посмотреть среди ботвы морковку. Бывает, что остается она, или чересчур мелкая, или порезанная наискосок лопатой. Он разгреб первую кучку ботвы, в которой попались сразу две — бледно-желтая, совсем тощая, и перере-

занная лопатой. Обтерев землю о рукав, Подсолнушков стал жадно жевать морковь, забыв в эту минуту об опасности. А она уже подкарауливала его.

За огородной изгородью стояли двое немцев, наблюдая за Ваней. Один из них поманил Подсолнушкова пальцем, другой снял с плеча винтовку, показывая, что при малейшем ослушании пустит ее в ход. Подсолнушков с тощей морковкой, зажатой в руке, подошел. Немцы, осмотрев грязного хромающего красноармейца, засмеялись. Подсолнушков вспомнил о карабине, оставленном во время ночевки в сарае, где погибли Кузеев и Попов. Вспомнил слова комиссара о том, что самое страшное преступление — это потерять боевое оружие. А что бы он сумел сделать сейчас с карабином? Ведь немцев двое, и подошли они сзади, неслышно, с заряженными винтовками. И все же, может быть, успел бы хоть одного прикончить, а потом, пока второй очухался от неожиданности, как в сарае, когда Миша взял первого полицая «на калган», смог бы, может быть, прикончить и второго.

«У тебя вся война впереди. Ты еще будешь героем»,— вдруг укором прозвучали слова капитана. Ну почему он не застрелился тогда в блиндаже? Почему не остался с капитаном?

Вид у Подсолнушкова был ужасен: покрытое коркой земли и копоти лицо, свалявшиеся от грязи волосы, цвета земли гимнастерка и шаровары, одна нога в ботинке, другая забинтована обмоткой.

— Это настоящий земляной человек. Его нужно обязательно сфотографировать для газеты. Сегодня утром убили еще двух таких же,— разглядывая Подсолнушкова, говорил немец, подозвавший его.

— Может, это совсем не человек? Разве человек может до такой степени обрастать грязью?— говорил второй, помоложе.— Решай быстрее, Хельмут, что делать с этим чудовищем. Я его просто боюсь: вдруг бросится кусаться, как тот, один из убитых утром. И этот тоже из тех, наверное...

— Мой бог, Карл! Это же интересный экземпляр большевика. Трогать его не следует, пусть наши солдаты смотрят на это животное, знают, с кем воюют, от кого освобождают землю.

Неизвестно, чем бы закончился этот диалог, не подойди к солдатам офицер. Первое мгновение он с удивлением глядел на Подсолнушкова, потом громко захохотал.

— Откуда выкопали?— спросил офицер.— Именно выкопали. С него же земля сыплется!— сострил офицер,

осматривая Подсолнушкова и довольный своим каламбуром.

Солдаты ответили, что поймали русского земляного большевика во время пожирания им зеленых листьев капусты. Тут у офицера пропал интерес к «земляному человеку» и, приказав передать его в ближайшую проходящую по шоссе колонну русских военнопленных, он ушел.

Подталкиваемый солдатами, то и дело громко смеющимися от собственных острот в адрес необычного военнопленного, они прошагали в сумерках до дома, где жил староста. Кое-как объяснили спившемуся бывшему священнику, что русского солдата сдадут в колонну военнопленных, так как господин офицер оставил его в живых, очевидно, из чисто гуманных и пропагандистских целей. А пока пусть находится под арестом.

Ночевал Подсолнушков в одной из комнат старосты, отведенной под кутузку. Он думал о том, что теперь, когда его убьют или замучают в плену, никто не сможет найти сумку комиссара с важными бумагами. Ведь из пятерых живым остался он один.

За всю войну он не убил ни одного немца, да вдобавок оставил в сарае карабин. В последний момент он затаился, выполз как уж и как заяц бросился на капусту. Он даже не крикнул ни одного обидного слова полицаям, а ведь мог бы. Вот Миша Попов изуродовал сразу двух фашистских холуев, хоть как-то отомстил за комиссара, старшину, лейтенанта Кузеева. А он?

Ваня все ждал, что кто-то войдет в эту темную с зарешеченным окном комнату и затем что-то произойдет. Но никто не входил, было тихо и покойно, и Ваня заснул сном совершенно измученного голодного человека.

Утром в кутузку вошел один из вчерашних солдат и, уперев руки в бедра, стал смотреть, как Ваня поднимался с пола. В глазах его так и прыгали веселые чертики. Солдат ждал чего-то смешного, необычного от этого маленького, покрытого коркой грязи человека. Ваня вдруг ни с чего брякнул запомнившийся еще с уроков немецкого языка в седьмом классе стишок, который Карл Густавович Бенке велел заучивать. Ваня пробормотал единым духом:

— Вир хабен ранцен мапен, вир хабен крайде лапен, вир хабен тинте унд папир, унд хефт унд бух, унд федер хир.

Немец схватился в судорожных корчах за живот и даже стал приплясывать, дрыгать ногами от хохота. Когда приступ смеха кончился, он громко позвал какого-то Пауля, добавив, что земляной человек читает по-немецки на каком-то совершенно новом диалекте, и когда тот пришел,

Подсолнушкову велели еще раз прочитать стихи. Однако, прослушав, Пауль даже не улыбнулся.

Вскоре в кутузку привели высокого старика с бородой, расчесанной по-адмиральски на две стороны, и необычайно яркой голубизны глазами и пожилую женщину, которая, увидев Полсолнушкова, испуганно перекрестилась.

— Ты чего такой чумазый, служивый? Некогда умыться было, перед тем как в плен сдался?— спросил старик.— Это надо же так запустить себя человеку, в таком виде перед нашим врагом себя показать,— адресовал он свое возмущение женщине.

— Нас в блиндаже засыпало, еле откопались,— сказал Подсолнушков, начиная понимать, почему над ним смеялись немцы.

— Выходит, откопались и сразу руки в гору: бери нас, Гитлер, воевать с тобой не желаем,— зло говорил старик.— Где же остальные, раз говоришь, что не один был?

— Все погибли. Двое взорвались вместе со складом немецких самолетных бомб, а двоих здесь фашисты убили. Один я целый остался.

Ваня тяжело вздохнул, как бы ища сочувствия.

— Вчерась наши пленные полицаев крепко изуродовали. У одного глаз вытек, у другого зубы повылетали и нос в лепешку. Может, с тобой были эти красноармейцы?— на этот раз заинтересовавшись, спросил старик.— Ты не тушуйся, боец, мое дело конченое, скоро меня в расход,— старик поднял рубаху и показал Подсолнушкову кровоподтеки на груди и спине.— С теми героями я скоро встречусь там,— показал старик вверх.— А вот ты живой остался, разошлись, выходит, наши дороги. Сразу я тебя, парень, угадал: струхнул ты перед врагом, не смог защитить нашу Советскую власть. Кое-кто дрогнул перед фашистом, даже к нему в холуи и палачи пошел. Вот полицаи Герка и Яшка. На глазах у нас росли, в комсомоле состояли. Кто бы мог подумать, что такое дерьмо из них может получиться.

Женщина, слушая старика, сидела в углу и беззвучно плакала, утирая слезы концом вязаной шали. Неожиданно она спросила Подсолнушкова:

— Голодный, поди? Ведь тут не покормят,— и протянула Ване покрытый розовой глазурью, чуть подрумяненный снизу пряник, который тот мгновенно жадно съел.

— Ты попроси воды умыться. На тебя же страшно смотреть,— сказала женщина.— Раз добровольно в плен пошел, должны снисхождение делать. Стучись в дверь, не бойся.

— Да не сдавался я! Вот пристали. Я в огороде капусту ел, а они сзади подошли...

— Стрелять надо было, отстреливаться. Лучше в сражении погибнуть, чем вот так,— сказал старик.

— Карабин-то я не успел взять из сарая. Их трое было. Разве я сам сдался? Сам бы я ни за что. Заснул я у дверей в соломе. Там карабин и остался, на посту заснул, думал, раз рассветало, то уже не опасно, Миша и лейтенант встанут. А тут немец с полицаями...

Сказав это, Подсолнушков вдруг с ужасом понял, что если и останется в живых, то никто никогда не поверит его рассказу, даже родная мать — так невероятно сложились обстоятельства в его военной судьбе. И еще более страшная мысль обожгла сознание — ведь заснул на посту, предал товарищей, хотя они поочередно не смыкали глаз до утра, оставив ему, Подсолнушкову — бодрому, выспавшемуся — самое удобное, утреннее время для их охраны. Выходит, погибли Кузеев и Попов по его вине. И поэтому нет ему оправдания и никогда теперь не будет до конца жизни.

— Ненадежный ты боец, плохо тебя, видать, учили, раз в тылу врага на посту заснул и оружие бросил. Ты сам себя приговорил,— сердито, насупив седые брови, заключил старик.— Я старый большевик, с товарищем Пархоменко воевал за Советскую власть. И сейчас без страха иду на смерть. Я живьем в своем доме пятерых фашистов сжег. И себя, и дом не пожалел. А вот эта женщина — мать троих командиров — в лицо фашисту-негодяю плюнула за то, что глумился над старухой. Теперь нас, для острастки других, при народе, публично казнить будут...

В обед старика и женщину увезли. Подсолнушкова покормили, но умыться не дали, а ближе к вечеру вывели на большак и сдали конвоирам в колонну военнопленных. Сопровождающий его немец на ходу передал старшему конвоя записку и крепким пинком послал Подсолнушкова в колонну военнопленных красноармейцев. Ваня упал бы, но его подхватили двое красноармейцев.

— Крепись, браток,— сказал один из них, босой, в гимнастерке с оторванным от самого плеча рукавом.— Не показывай слабости. Слабых сразу убивают. Как скотину.

Нога у Ивана болела все сильнее. К вечеру, когда колонна остановилась на околице большого, уцелевшего от бомбежки и пожара села и военнопленные в изнеможении повалились на землю, Подсолнушков смог наконец разгля-

деть при свете последних закатных лучей образовавшийся на пятке багровый нарыв. Вся ступня распухла, и даже сквозь слой пыли и грязи было видно ее розовую отечность.

Все тот же босой, в гимнастерке без рукава военнопленный, с которым Иван шел рядом в колонне, осмотрев ногу, сказал, что нужно обязательно привязать к нарыву листья подорожника и что если Иван отстанет в колонне, это будет его конец. Расстреляют и в том случае, если не сможет после отдыха подняться и встать в строй. Так что надо изо всех сил шагать. А там будет видно.

На счастье, у поскотины вдоль тропинки рос подорожник. Иван с помощью нового товарища очистил и туго привязал к нарыву листья целебной травы и забинтовал обмоткой.

Утром, когда колонна снова двинулась на запад, Подсолнушков уже шагал увереннее, хотя боль не прекращалась, и каждый шаг давался ему с большим трудом.

На железнодорожной станции военнопленных погрузили в вагоны и повезли в Германию. В Познани всех выгнали из вагонов, и Иван впервые удивился ничем не оправданной, какой-то автоматической, очевидно, записанной где-то в фашистских уставах и циркулярах жестокости. Военнопленных били прикладами, выстраивая у вагонов в колонну. Ивана поразило, что русских людей, на которых подло напали, взяли в плен, теперь делали будто бы виновными в чем-то и срывали на них свою слепую ненависть. Далеко от Родины теперь все становилось безвыходным, полным страшной нечеловеческой взаимной ненависти и тоски. Ивана немцы уже не считали человеком. И в то же время они постепенно теряли перед ним свою индивидуальность, превращаясь в нечто одно — серо-зеленое, злобное, беспощадное, с которым в его безвыходности стало невозможно бороться. И откуда так быстро появилась у немцев эта ненависть к русским? Ведь еще недавно в школе Подсолнушков был членом кружка МОПР, изучал на уроках немецкий язык и даже помнил стихотворение о том, что должен иметь ученик — и русский Иван, и немец Карл: тут и ранец, и бумага, и карандаш — ранец лапен, крайден, папен унд папир — учись, знай, прилежнее, пионер.

Теперь увидел Иван Подсолнушков страшного и беспощадного врага, с которым не могло быть разговора на человеческом языке: он не хотел понимать этот язык. Теперь с фашистом нужно было разговаривать только оружием.

И пошли, закружились жуткие дни рабства, унижения,

мук, которые на немецком языке назывались криг гефанг — военный плен.

* * *

Сначала Иван работал на металлургическом заводе в Руре. В начале сорок третьего вместе с группой русских, поляков и французов его перевели в Померанию на фабрику, изготовлявшую деревянные ручки для гранат. В феврале он простудил плохо подживающую ногу, и ее ампутировали по щиколотку.

И вот когда после операции ослепительно ярким мартовским днем он вышел из лагерного лазарета, его встретили двое: красивая, гибкая, какой-то нерусской, чужой, открыточной красоты в мужской куртке блондинка и низенький, пожилой жандарм с усами, свисающими по-запорожски скобкой, в блестящих крагах, с винтовкой за спиной, казавшейся из-за его роста чересчур большой.

Гибкая, красивая фрау подозвала Подсолнушкова, заставила его пройти взад-вперед, задрала стеком штанину Ивановых брюк, осмотрела новенький поскрипывающий кожей протез, к которому Подсолнушков еще не привык, и сказала коротко «гут».

Военнопленный с одной ногой больше всего подходил для работы в ее фольварке: лицо — флегматичного, ограниченного русского человека. Такой туповатый парень без претензий будет покорным, безропотным, никуда не убежит из-за протеза. Во-первых, потому, что далеко на одной ноге не ускачешь, во-вторых, как ни маскируйся, ни переодевайся, нога обязательно выдаст его каждому встречному.

Поместье-фольварк находилось километрах в двадцати от лагеря, и вместе с пожилым жандармом в сверкающих крагах новая хозяйка повезла туда Подсолнушкова, закончив оформление соответствующих документов с лагерным начальством за несколько минут.

Кроме Ивана, в поместье жила репатриированная хорватка Мария лет сорока, брюнетка с преждевременно яркобелыми нитями седин в голове.

Поместили Подсолнушкова в чердачной, узкой темной комнате.

Хозяйкой в доме была старая парализованная Эрна — жена погибшего полковника, и гибкая Эдит приходилась ей невесткой. Особняк Эдит в Берлине разбомбили, и она переехала к старой Эрне, став управляющей и фактически хозяйкой. Для батраков Ивана и Марии Эдит составила

жесткий распорядок дня, в котором на сон и отдых отводилось ровно пять часов, остальное время суток было расписано по минутам, и нарушение этого распорядка Эдит карала полицейской дубинкой. В распорядке предусматривался расход питания и амортизация одежды. Была подсчитана до пфеннига трудовая отдача двух батраков. Эдит будила их по утрам, открывая замки комнат, а ночью, после окончания работы в коровнике, закрывала. Она объяснила, что любовная связь Ивана и Марии и, не дай бог, рождение «кляйн кинд» будет обозначать немедленную смерть всех троих.

Через день в поместье ровно в двенадцать приезжал на велосипеде жандарм в блестящих крагах, ставил в углу гостиной свою большую винтовку, выпивал рюмку вишневой наливки, подносимую Эдит, потом уходил с ней в обнимку в спальню. Перед тем как укатить на велосипеде, смотрел, как работают батраки, и всегда говорил одно и то же:

— Москау капут, русланд капут. Ифан, рапотай хорошо! Криг гефанг карашо.

Работали Иван и Мария как-то непрерывно, автоматически, делали ежедневно по строгому распорядку одно и то же: чистили коровник, готовили на соломорезке корм, доили семь коров, давали им корм, поили, чистили, складывали за коровником в штабель навоз, предназначавшийся для удобрения картофельного поля, убирали в доме восемь комнат, мели двор, топили печи. И странное дело — за всем этим успевала зорко, внимательно следить Эдит, по временам вынимая из кармана на груди золотые часики-медальон на цепочке. Она, точно немая, не говорила ни слова, и только когда Иван и Мария не успевали с чем-то справиться в срок, подходила и несколько раз сильно била дубинкой по голове, по плечам, щадя при этом руки, пальцы, которые нужны были целыми и здоровыми для работы. В первом часу ночи Иван и Мария шли спать: Мария во флигель во дворе, Иван в каморку на чердаке.

В первый день, когда Иван был определен в поместье, старая Эрна с помощью соседа — однорукого бывшего ефрейтора Рудольфа Кенига, знавшего с пятого на десятое русский язык, объяснила обязанности и распорядок дня русскому Ивану и хорватке Марие. Невестка Эдит добавила, что грязные славяне, из-за которых она потеряла в Германии особняк, а на фронте проливает кровь ее муж Отто, будут до конца своих дней работать, чтобы восстановить стоимость особняка.

— Великая честь для таких, как вы, скотов,— как-то жутко прокаркала парализованная старуха Эрна,— умываться по утрам моей мочой — мочой чистокровной арийки.

И когда на следующее утро их заставили умываться и Иван запротестовал, Эдит молча вышла из спальни тетушки и вернулась с полицейской дубинкой, оставшейся от Отто — бывшего штурмовика. Так же спокойно, будто выполняя привычную обязанность, Эдит наотмашь ударила дубинкой Ивана по голове. Когда тот схватился руками за ушибленное место, она еще несколько раз ударила его по спине, пояснице. Затем повернулась к Марии и избила ее.

В ту ночь Иван видел надолго потом запомнившийся ему сон: майский вечер в родной деревне. На скамейке у клуба синеглазые гармонисты ждали девчат. А через речку, на другом берегу, молодые елки, как невесты, кутались в фату слоистого вечернего тумана, поднимавшегося от воды.

Проснувшись на зорьке, перебирая в памяти сон, Иван впервые заплакал. Опять стала невыносимо мучить совесть: не засни он тогда в сарае, и все могло стать иначе. Остались бы в живых Миша Попов и лейтенант Кузеев и сам он мог убежать после этого, не соблазнись, как заяц, морковкой и капустой. И вот теперь эта страшная неволя за многие тысячи километров от фронта, от Родины. А как там на фронтах? Лопочут немцы про Москву и Сталинград. То и дело Эдит получает посылки из России. Неужели победил немец и теперь конец, и каждый русский станет рабом, как вот он, Подсолнушков, и Мария? Неужели это правда? Ведь сколько народа в городах и деревнях. Если все встанут, куда ему, фашисту? Можно кулаком забить в землю с головой.

А безысходная черная тоска снова и снова охватывала Ивана. С хорваткой Марией не поговоришь. Она совсем оглохла — лопнули у нее от фашистской бомбы перепонки в ушах. Только на пальцах и объясняется Иван с Марией — испуганно покорной, потерявшей всякий интерес к жизни и выполняющей всю непосильную работу бездумно, лишь бы день да ночь и сутки прочь.

Но что же делать, чего ждать, на что надеяться?

С родным домом у Подсолнушкова ассоциировалась Родина с ее бесконечными железными дорогами, фабриками, хлебными полями, озерами и с крохотными цветочками куриной слепоты на солнцепеке за поскотиной. Этот дом на окраине был красивым. В натертые мелом, сверкающие стекла окон горницы кокетливо смотрелись малиновые и фиолетовые петуньи на подоконниках. В дубовых рамках

глядели со стены портреты отца и матери. И все в деревне знали Ивана, и он мог рассказать о любом жителе в Романовке и Еловке... А теперь вот... Немцы приделали к культе протез, совсем как настоящую живую ногу, и даже в ботинок ее обули. А вот когда износится этот ботинок, попробуй сшить такой же! Но главное, самое важное, страшное — перестал Иван быть строевым солдатом. А ведь как тогда говорил комиссар Белоконь, вся война у него, молодого, здорового Ивана Подсолнушкова впереди и что станет он героем. Тоже мне герой! Чем теперь может он отомстить фашистам? Не дать коровам корма, чтобы они сбавили в молоке? Поджечь дом? Все это мелко, по-ребячьи глупо. И еще гнетет с утра до ночи неизвестность: как там наши воюют? Где проходит передовая? На подступах к каким городам бьются наши батальоны и полки? Когда должен наступить перелом в войне?

Не выходили из памяти Подсолнушкова родной дом с учебниками географии и русского языка за седьмой класс, с почетной грамотой, полученной в колхозе матерью и прибитой к стенке чуть ниже родительских портретов.

Как далека была — она, милая, большая, просто необъятная, попавшая теперь в беду Родина... Но когда придет победный звездный час, захлебнутся в слезах старуха Эрна и садистка Эдит. Заплачут все фашисты. Иван Подсолнушков верил в этот час. Но вот чем помочь сейчас Красной Армии, чтобы приблизить этот звездный час? Иногда просто не верилось, что родили фашистов, как и других людей, человеческие матери.

Эдит не нежилась по утрам в постели, вставала по звонку будильника затемно, шла в коровник вместе с Иваном и Марией и наблюдала за их работой, постукивая дубинкой по голени ноги, как бы отсчитывая секунды и с какой-то жадностью, внимательностью карауля малейший промах, чтобы ударить по голове, спине, пояснице. При этом она закусывала нижнюю губу, глаза загорались кошачьим янтарным светом. И после того, как наказанные стонали, потирая ушибленные места, у Эрны наступало удовлетворение.

Вдвоем Марии и Ивану справляться с работой было трудно. Тут впору ставить еще троих батраков. Но Эрна и Эдит тщательным образом подсчитали, во что обходится кормежка, и воздержались брать других работников из военнопленных.

Иван иногда думал о том, что парализованная старуха Эрна, по существу, полчеловека. И в этой половине остались только зло, ненависть, как у русской Салтычихи, которую

знал он по школе. Может быть, вторая часть — добро человеческое умерло в той правой половине, что была парализована. А может, его вообще не было.

БЫЛА ДУШИСТАЯ ВЕСНА

И вот пришел победный сорок пятый год в фольварк, где томились Иван Подсолнушков и хорватка Мария. В обед впервые не приехал на велосипеде педантичный жандарм. Где-то совсем близко раздались взрывы снарядов, автоматная трескотня и винтовочные выстрелы. К вечеру мимо дома прошли два советских танка, а вскоре за ними — студебеккеры с полными кузовами солдат и прицепленными сзади пушками. Иван и Мария выбежали на обочину дороги. За шумом моторов не расслышал Подсолнушков, что крикнул им из кузова рыжеусый старшина: наверное, поздравил с победой, а может, посчитал за немцев и сказал совсем другое?

Когда вернулись в дом, Эдит, посеревшая лицом, непривычно бестолково-суетливая, бегала по комнатам, собирая в чемоданы платья, меха, хрусталь. Старуха неподвижно уставилась в какую-то точку над дверью и безмолвно оцепенела в своем кресле-тележке, огорченно, как девочка, поджав губы.

— Ифан, Мари,— обратилась к ним Эдит.— Сталин гут, Гитлер капут,— и жестами показала, что нужно помочь в сборах.

Тут взгляд Ивана упал на дубинку, лежавшую на столе, и вся кровь ударила ему в голову.

— Значит, улепетывать собрались, гниды,— сказал он, едва удерживая гневную дрожь.— Теперь Сталин стал хорошим, а Гитлера хороните!

Мария по выражению лица догадалась, что Иван вышел из повиновения. За какие-то секунды в ней тоже произошло настоящее перерождение — распрямился стан, гордо поднялась голова и в карих глазах сверкнула глубокая, донная усмешка. Она подошла вплотную к Эдит и плюнула ей в лицо. Потом брезгливо подняла ночной горшок и вылила его содержимое на голову старухи. Иван от неожиданности даже тихонько ахнул. Но странное дело: перед ними теперь были женщины, покорно, будто так и надо, сносящие отчаянные выходки вчерашней забитой в буквальном смысле слова батрачки. Старуха здоровой рукой стирала с лица не-

чистоты и согласно кивала головой, а Эдит даже натянула на лицо какое-то подобие улыбки.

Тогда Мария взяла со стола дубинку, подала ее Ивану и приказала ему таким горячим, выразительным взглядом и жестом расплатиться с Эдит за все муки и страдания, которые они — Иван и Мария — испытали во время этой страшной каторги. Иван посмотрел на немок — оцепеневших от ужаса, покорных, виноватых, как ему показалось, даже пристыженных. И так как все его существо теперь ликовало, пело от восторга, переполненное великой радостью освобождения, близкой победы, перешагнувшей порог фашистского дома, Иван презрительно плюнул в сторону Эдит и Эрны и, забросив в угол дубинку, взял за плечи Марию и поцеловал ее. Они вышли на весеннюю улицу, по которой шла в танках и автомашинах, в повозках и просто строем поротно — Победа. Шла она, незнакомая, молодая и сильная, в загорклой, пахнущей порохом защитной зеленой одежде, в невиданных Иваном зеленых погонах, с новыми песнями, которые он до этого не слышал. И что теперь по сравнению с этим великим ликованием значили парализованная, окончательно потерявшая ум старуха и садистка Эдит?

А родные солдаты все шли и шли на запад с песнями, и молча тянулись орудия и катушки полевых проводов, дымящие кухни и радиостанции. Шла другая Красная Армия, которая могла только наступать, побеждать — отлично вооруженная и обмундированная, сверкающая боевыми наградами. Иван Подсолнушков снова с болью подумал сейчас о своем батальоне, дравшемся за высоту, о блиндаже, в котором его засыпало с товарищами, о их гибели, о полевой сумке комиссара Белоконя, который что-то долго писал при умирающем язычке «катюши» и просил любой ценой сохранить и доставить нашему командованию сумку. В ней, это теперь Иван отчетливо понял, комиссар оставил письмо, которое расскажет кому надо о том, что с ними случилось — совсем невероятное, в которое просто невозможно поверить. И теперь Иван должен любой ценой выкопать эту сумку, в которой хранится приговор его судьбе, чести, будущему. Без этого он не может, не имеет права смотреть людям в глаза. Он доедет, дойдет, доберется до места любой ценой — пешком, ползком... Место это севернее Витебска, около Богушевска, он много раз мысленно видел — разлапистая, раздвоенная сосна, на высоте вытянутой руки для приметы обмотанная полевым проводом. Сумка зарыта глубоко, надежно. Не могла она, закутанная в несколько слоев бре-

зента, промокнуть, сгнить. Иван был так возбужден, что, не откладывая ни на минуту своего решения, собрался немедленно шагать к далекому Богушевску. В это время в дом вошли двое военных и цивильный немец.

— Русский, поляк?— спросил Ивана немолодой капитан.

— Русский, бывший солдат. В плен попал в сорок первом под Витебском,— волнуясь, стал объяснять Иван. Капитан поморщился, выслушав Ивана, и обратился к стоящему рядом старшему сержанту с двумя орденами Славы на гимнастерке.

— Теперь попробуй разобраться: кто в плен сам шел, кого раненого взяли. Замечай, Захаров, в Германии, выходит, один Гитлер был людоед, а остальные только и делали, что боролись с ним, нам помогали. Но ни хрена, и в этом разберемся. А ты, бывший, приходи завтра с утра в комендатуру и учти, что я воевал в сорок первом под Витебском.— И закончил резко, совсем недружелюбно:— Окружения что-то не помню...

ЧЕЛОВЕК С ПОРТРЕТА

Эдит и Эрна сидели на чемоданах и чего-то или кого-то ждали. Может, думали, что русские уйдут назад, кончится этот кошмар и все пойдет по старому распорядку. Иван и Мария впервые сами готовили себе ужин. Со двора доносилось голодное мычание животных. Иван несколько раз порывался в коровник: ведь в конце концов скотина-то ни при чем. Пусть идет в солдатский котел, а то и в какой-нибудь порушенный войной колхоз. Но Мария всякий раз останавливала Ивана, показывая глазами на Эдит — невелика, мол, барыня, пусть теперь сама кормит и поит скотину, кончилась ее власть. Немки о чем-то шептались, старуха перекрестилась, и Эдит наконец встала и вошла сначала в спальню старухи, потом вышла, накрывшись клетчатым пледом. Она пробыла на улице минут десять и вернулась возбужденная, с лихорадочно сверкающими глазами, с красными пятнами на лбу и щеках. И снова что-то стала оживленно говорить Эрне, наклонившись к ее уху и увозя коляску в спальню.

«Что-то затевают, подлые»,— подумал Иван и посмотрел на Марию. Та, очевидно, тоже поняла по перемене, происшедшей за это короткое время с Эдит, что что-то случилось на улице. Замолчали коровы. Наверное, Эдит дала им корм. В спальне слышался топот ног, стук передвигаемой

мебели, непонятные восклицания — не то плач, не то сдавленный стон. И тут Иван не выдержал, подошел к двери, потянул на себя ручку. Дверь оказалась закрытой. Тогда он постучал. В ответ — какое-то настороженное, тревожное молчание, как перед бедой.

— Ты, Маша, сиди, карауль,— указал Иван на дверь,— я погляжу с улицы, что там делается. Может, немки через окно удрали, а может, кого запустили,— говорил Подсолнушков, сопровождая каждую фразу жестикуляцией, хорошо понятной Марии.

Было часов десять, и вкрадчиво, будто боясь нарушить тишину позднего вечера, накрапывал дождик. Подсолнушков скорее по привычке, чем из любопытства заглянул в коровник. Дверь была открыта, и привычное ухо Ивана не различало характерных вздохов коров, пережевывающих корм. Он зажег зажигалку и в неверном неясном ее свете увидел огромные выпученные глаза лежавшей крайней коровы Берты. Сначала увидел только глаза, в которых тускло отражался огонек зажигалки. Засветив фонарь, висевший у входа, Иван увидел, наконец, жуткую картину, и сразу же его осенило, зачем ходила в коровник Эдит. Все коровы с высунутыми огромными языками, с которых еще стекала зеленоватая пена, были мертвы.

«Значит, чтобы ни нам, ни вам, подлое твое фашистское нутро. Значит, лучше отравлю скотину, чем она русским достанется»,— гневился Иван, ведя мысленно сердитый диалог с немкой. И тут вспомнил об окне в спальню, которое кто-то открывал, и сразу же заковылял туда. Выходило окно в небольшой вишневый сад, с улицы его не было видно. Иван внимательно осмотрел окно: на зиму его заделывали замазкой, и теперь, только что сорванная, она белела под ногами, а само окно было плотно занавешено изнутри и только проливался узенький светлячок между шторой и подоконником. Иван глянул в эту щелку, оставленную явно второпях. Сначала увидел мужскую спину в спортивной куртке. Потом ее закрыла фигура Эдит. Но вот человек в куртке повернулся и, будто почувствовав Иванов взгляд, пристально прищурился на окно — прислушиваясь и приглядываясь. Человек был лет сорока, с усиками, с прямым пробором в светлых волосах. Иван удивился, что лицо его знакомо — где-то видел он эти усики, этот аккуратный пробор в волосах. Но почему человек вошел в дом через окно, в сумерках, не желая показываться на глаза ему, Ивану и Марии, вчерашним рабам? Значит, не случайно сидели немки на чемоданах с утра до

вечера, как на вокзале. Значит, ждали они этого человека. И не случайный он прохожий, а близкий им, может, тоже кто из родни.

И тут Иван вспомнил портрет в спальне старухи над ее кроватью в вишневой лакированной рамке. Около цветущего дерева стоит этот человек в офицерском мундире, с крестом на груди, с легкой самодовольной улыбкой. Вот кто, значит, явился — не запылился! Ясное дело, от такого теперь надо ждать пакость. Конечно, этот фашист не просто пробрался в дом. Может, с ним пролезли другие и сейчас затаились на улице, вот тут, в вишняке, позади Ивана. Чего стоит прихлопнуть им Ивана и Марию — тихо, хладнокровно, как Эдит отравила коров? Ведь война не кончилась, и впереди еще много километров до Берлина. Волнуется фашист, всякие пакости готовит нашей армии. Надо взять этого гада, обезвредить. Но как? Ведь безошибочно можно сказать, что в кармане у него парабеллум или вальтер, может, пронес под курткой автомат. Попробуй, возьми такого голыми руками!

Размышляя так, Подсолнушков чувствовал, что теперь нельзя терять ни минуты, что сидеть эта троица за закрытыми дверями не будет, обязательно ночью что-то натворит.

Когда Иван поспешно вошел в зал, Мария вопросительно посмотрела на него и по выражению лица поняла, что на улице произошло что-то тревожное, опасное. Иван жестами растолковал Марии, что в окно влез третий, вооруженный (Иван прикрыл правый глаз, вытянул левую руку, будто придерживая цевье ружья, а правым указательным пальцем пошевелил, будто нажимая спусковой крючок.) Мария сразу же поняла этот жест и потащила Подсолнушкова на улицу. Не понимая, чего она хочет, он сначала упирался, противился, но Мария проявила столько энергии, горячности, что Иван начал догадываться: делает Мария что-то серьезное, наверняка неотложное. Открыв сарай, Мария вошла туда, показав жестом, чтобы Иван подождал, и вскоре вышла, протянув ему немецкий автомат. Другой такой же шмайсер она повесила себе на грудь.

Ах, какая молодчина, оказывается, Мария! Но как и когда достала она оружие, кто мог оставить его в дровяном сарае в такое время? И почему только сейчас она достала его?

«Боевой совет» состоялся тут же и состоял он из красноречивых жестов, обозначавших место каждого в предпринимаемой операции по обезвреживанию ночного гостя и

немок. Мария встала к окну, через которое проник в дом немец, Иван решил войти в дверь, настойчиво постучав, и пустить оружие в ход только в крайнем случае.

Как только, по расчетам Ивана, Мария заняла место у окна, он постучал в дверь. За тонкой филенкой было слышно торопливое бормотание мужчины, после чего дверь распахнулась. На него пристально глянул высокий белокурый, с кирпичным румянцем на щеках человек, чей портрет сейчас был как раз над его головой. Правую руку он держал в кармане. Немец был в боевой стойке, готовый выкинуть в любую секунду пистолет и разрядить его в Ивана.

А у того все тело вдруг стало удивительно легким, готовым к прыжку, в каждый мускул влились какие-то, до этой минуты дремавшие или закрученные в тугую пружину, силы. Иван почувствовал себя на переднем крае, перед решающей атакой. В голове в какую-то секунду промелькнула вся горечь унижений, оскорблений, побоев, голода. Это напряжение длилось секунды, и неизвестно, какова была бы разрядка, но в оконное стекло с улицы громко постучала стволом автомата Мария. Немец вздрогнул, выдернул руку из кармана и выстрелил туда наугад. В ту же секунду Иван нажал на спусковой крючок автомата. Очередь простучала, точно крупные дождины по пыли, по серой куртке немца, и тот рухнул на подкосившихся ногах, как неумелый конькобежец на крутом вираже. Как в тумане, Иван увидел остекленевший глаз старухи, уставленный куда-то над его головой, в пространство. Мария выбила раму, сорвала штору и теперь появилась, как в картинной рамке, грозная, с автоматом в руках. Это спасло Подсолнушкова от пули, которую послала в него из своего никелированного вальтера Эдит. В последний момент, когда в проеме окна возникла Мария, у Эдит дрогнула рука, пуля впилась в дверной косяк всего в сантиметре от Ивановой головы. Второй раз Подсолнушков не дал ей выстрелить, опять нажав на спуск шмайсера. Падая лицом вперед, Эдит задела рукой лицо старой Эрны. Но та не пошевелилась. Иван шагнул к старухе и увидел, что та была мертва.

На выстрелы прибежали двое солдат из комендатуры. От только что пережитого Иван не мог толком вымолвить ни одного слова.

— Да ты очнись, расскажи, что за война произошла у вас, кто кого и за что?— тормошил Подсолнушкова боец с карабином. Он поднял с пола парабеллум, лежавший рядом с немцем, и красивый зеркальный вальтер Эдит.

Мария жестами показала на лежащего немца и на его портрет на стене.

— Хозяин, выходит, пришел, а вы его того... Как дело-то было?

— Он хотел в меня. Он через окошко пролез незаметно. Наверное, думал сотворить плохое. А я его и немку, эту фашистку, заодно. Иначе мне бы капут вышел, а может, и еще кое-кому из наших русских. Они, гады — это только подумать, что сотворили!— семерых дойных коров эта фашистская стерва отравила. Дескать, не нам и не вам!

Вскоре пришел комендант — давешний немолодой капитан и с ним тот же цивильный немец. Они более обстоятельно опросили Ивана о случившемся. Успокоившись, Подсолнушков подробно рассказал обо всем, не скрыв своего удивления относительно немецких автоматов, которые достала из дровяного сарая хорватка Мария.

Убитого обыскали, забрав из карманов пистолет и какие-то бумаги. Цивильный немец внимательно вглядывался в его лицо, поворачивая и приподнимая голову, что-то с возмущением говорил капитану, повторяя слова «наци» и «эс-эс».

— Чистый эсэсовец, сволочуга,— по-своему перевел солдат с карабином слова немца,— вишь, этот, из политических, толкует, что опасный, мол, был зверь. А ты, парень, молодчага, правильно их уделал всех троих.

— Я только двоих,— как бы оправдывался Подсолнушков,— бабка фашистская сама окочурилась от страха. Парализованная она была, старая ведьма. Не поверишь, мочой своей заставляла умываться. А вон та,— указал он на чуть оскалившуюся Эдит,— та была пострашнее старухи. У нее мужик был, видать, полицаем и оставил свою дубинку. Так она не расставалась с ней, все хлестала нас с Марией по чем попало, ни за что, ни про что. Это ей удовольствие было. Эх, солдат, знал бы ты нашу житуху здесь!— сокрушенно закончил Подсолнушков.

— А как в плен-то попал?— спросил второй солдат, которому Иван помогал выносить трупы на улицу.— Сам, что ли... «хенде хох» сделал, испугался?

— Не поверишь, в блиндаже нас засыпало осенью сорок первого. Пока откопались, немцы пришли. Четверо из нас погибли, а я вот живой чудом остался.

Солдат тяжело вздохнул, свернул самокрутку, как-то искоса посмотрел на Ивана.

— Оно, конечно, всякое бывает. Кто умирал в бою, кто,

значит, в блиндаже кантовался и потом работал на Гитлера,— закончил он неожиданно строго и даже зло.

— Да ты поверь, браток. Неужто я бы сам,— задохнулся от волнения и обиды Подсолнушков.— Такие обстоятельства получились, хоть плачь. Разве я сам мог бы?

— Наши разберутся, не беспокойся. Каждый свое получит: кто медаль, кто кой-че другое. Ты сам говоришь, что четверо твоих друзей погибли. Значит, дрались с фрицем, а ты бортиком. Вот теперь и доказывай, какой ты был. Не обижайся, на войне всякое бывало.

Хорватка Мария показала капитану в сарае тайник, в котором лежали еще несколько автоматов, гранат и фаустпатронов. Обнаружила этот склад оружия она случайно, когда части Красной Армии проходили мимо дома.

В этот момент Эдит, бледная, с закушенной губой, смотрела из окна на движущуюся колонну пехотинцев. Потом, ломая пальцы и извергая проклятия, кинулась на улицу. Наблюдавшая за ней Мария подумала, что немка решилась на что-то отчаянное, и выбежала вслед за ней. Эдит открыла сарай и стала отодвигать от стенки картонные коробки с пустыми стеклянными банками и бутылками. Она стояла спиной к Марии, и та в образовавшейся нише заметила аккуратно сложенное оружие. В это время на улице загрохотали танки, Эдит, очевидно, испугалась, поспешно вышла из сарая, засовывая в карман дорожного костюма никелированный вальтер. Мария хотела тут же показать Ивану тайник с оружием, но, захваченная более важными, радостными событиями, связанными с приходом освободителей, не успела. Она помогла поварам в заготовке сухих досок для кухни, таскала сено для лошадей к повозкам связистов, расположившихся на короткий отдых у соседнего дома, делала с огромной радостью массу других дел. Ее серая куртка с вшитым в рукав знаком югославской военнопленной мелькала в самых различных местах, почти непрерывно стучали по камням мощеной улицы башмаки с деревянными подошвами. Так, захваченная этими долгожданными событиями, не успела Мария показать Подсолнушкову тайника. А может, не придала ему серьезного значения.

Расстались они на другой день. Иван поехал с группой бывших военнопленных к Варшаве, Мария добровольно осталась работать в хирургическом полевом пересыльном госпитале — ХППГ — санитаркой. На прощание Подсолнушков неловко, неумело обнял, поцеловал ее куда-то в переносицу и смахнул смущенно слезу:

— Давай, добрая твоя душа, скорее добирайся домой и

не поминай меня лихом,— сказал он так, больше для себя, потому что Мария все равно не слышала сказанного, да ей и без того было понятно, что домой надо как можно скорее, вот только дождаться победного дня.

* * *

...Была душистая победная весна. Родина встречала демобилизованных с музыкой, с цветами, с радостными улыбками, горячими поцелуями и слезами. Вернулся и Иван Подсолнушков к старой матери, кое-как сводившей концы с концами в тяжелое послевоенное лихолетье. В казенной бумаге, полученной матерью, Иван значился пропавшим без вести. Бывалые люди говорили ей, что Иван может быть живым, вот только весть о себе подать пока не может, потому и пропавший без вести. Но кончится война, найдется Иван. Если бы погиб — прислали похоронку. На этот счет сообщают всегда честно, хотя и горько. А раз Иван безвестный, следовательно, живой. И ждала старая мать весточку, сложив рядом две казенные бумаги — о героически погибшем муже своем — отце Ивана и о нем — безвестном солдатике.

Сестра Зойка работала в далеком уральском городе Ирбите на заводе, куда послали ее после окончания школы ФЗО.

Даже чарку вина не смогла поставить с возвращением сына старая, и праздничное застолье украсила картошка в мундире да соленая капуста. Две соседки солдатки, сидя на лавках, тяжко вздыхали, глядя на худющего, бледно-желтого, как чахоточного, Ивана, который уныло жевал материнское угощенье и лениво отвечал на многочисленные вопросы: не встречал ли где на войне Степана да Илью с Захаром и когда остальных солдат распустят по домам, какие награды привез Иван, и о многом другом спрашивали соседки.

А мать своим сердцем чувствовала, что не все в порядке у Ивана, что таит он что-то, сын ее, так долго пропадавший без вести в чужедальней стороне на фронте.

Утром Иван сходил в сельсовет, отдал бумаги на получение паспорта.

— Куда определяться думаешь, герой войны?— спросил председатель Степан Петрович Туманов, бывший фронтовик, потерявший правую руку и после госпиталя избранный председателем сельского Совета. В этом «герой войны» Под-

солнушкову почудилась горькая и явно злая ирония. Степан Петрович между тем продолжал, внося ясность:

— Тебе ногу, мне руку оттяпали. Теперь фронтовики должны держаться дружно, пример показывать. Вот ты, Иван, оформляй скорей пенсию и определяйся. Матка твоя совсем бедствует, помогать по дому, по хозяйству ей надо. За войну совсем она износилась, обессилела. На отдых старухе по ее годам и здоровью пора.

— Мне, Степан Петрович, еще в одно место надо обязательно и безотлагательно съездить. Там, можно сказать, вся моя дальнейшая судьба,— сказал Подсолнушков.— Вот с деньжатами только совсем плохо. Короче говоря, нет их у меня.

— Жениться надумал, за невестой, за фронтовой подругой решил податься? Оно, понятно, дело сердечное. Но ты погляди на наших девок-невест: неужто тут не выберешь? Или далеко у вас зашло, с дитем связано?

— Какая там невеста, Степан Петрович! Об этом пока и не думаю. Тут так у меня сложилось, что себя надо реабилитировать сперва. А там, куда еду, должны быть бумаги, по которым все станет понятно. Хороший человек, настоящий большевик их написал. Да только так получилось, что бумаги спрятали от фашистов. А без этих бумаг мне по самый гроб нет спокойной жизни на земле.

— Дело, выходит, совершенно серьезное. Ты толком обскажи, что и как. Может, вместе покумекаем, придумаем что-нибудь. Я же говорю: фронтовикам надо дружно держаться.

Иван подробно, как мог, как много раз мысленно вел этот рассказ с мысленными собеседниками, а теперь вслух поведал председателю сельсовета свою одиссею.

— Шансов у тебя, Иван, считай, из ста один, а может, два,— выслушав Подсолнушкова, сказал Степан Петрович.— За такое время ведь всякое могло случиться. К примеру, запахали ту полянку, а то, может, приметное дерево спилили на дрова. А поэтому ты уж здорово на удачу не уповай. А деньгами я тебе помогу, хотя знаешь сам мою жизнь с тремя нахлебниками. Как в струю жизни попадешь, рассчитаешься. И последнее, главное. Такое время, Иван, что надо быть особо бдительным. Учти, тобой интересуются уже: что, мол, да как? А поэтому раз решил ехать, уезжай немедленно, пока не поздно — хоть сегодня или завтра. И обязательно скорее назад. Учти, я на себя многое беру. Если сбежишь, подведешь меня крепко.

ЗАВЕЩАНИЕ КАПИТАНА

Сегодня удивительно вспоминать железные дороги первых послевоенных лет. Казалось, вся страна устремилась к перронам больших и малых станций, полустанков и разъездов. Ехали демобилизованные целыми эшелонами. Возвращались с востока на запад эвакуированные. Масса народа передвигалась в поисках жилья, хороших заработков, просто новых мест, оставляя сожженные деревни и города. Опять, как в революцию, появились мешочники, спекулянты, стали пошаливать в поездах воры, грабители. Великим подвигом было достать билет в проходящий пассажирский. В залах ожидания, в проходах, у билетных касс, буфетов сидели и лежали на вокзальных скамейках с высокими дубовыми спинками и просто на полу сутками, а иногда неделями. Ходили дополнительные товарно-пассажирские неторопливые поезда, прозванные «пятьсот веселый». Шли они без графика, пропуская «товарняки», «порожняки», не говоря о почтовых и пассажирских. В «пятьсот веселых» случались свадьбы и роды, драки и самые неожиданные встречи. Везли в таких поездах овечек и кадушки для солений, железные кровати с панцирными сетками, фикусы, велосипеды, клетки и даже ульи. Ухитрялись сплошь и рядом ехать без билета. Иногда попадались горькие пьяницы, снявшие с себя все до подштанников. На крышах таких поездов ехали иногда целыми семьями несколько тысяч километров, стойко перенося зной и грозы, слякоть и метели. Метались люди по бесконечным железнодорожным путям страны во всех направлениях в поисках счастья, работы, родных и близких.

В такой бурный людской поток попал Иван Подсолнушков. С помощью попутчиков ему помогли взобраться на крышу товарного вагона и, как инвалиду, уступили «удобное» место около вытяжной трубы. Потом были пересадки, ночевки на вокзалах, и, наконец, на восьмые сутки к вечеру Иван добрался до Богушевска.

Он сразу же направился на поиски заветного клада. Часть пути Ивана подвез на подводе попутчик — экспедитор потребсоюза, а дальше до самых глубоких сумерек он прошагал давно неезженным проселком, заросшим диким разнотравьем. Заночевал прямо у обочины дороги под кустом, подложив под голову вещевой мешок. Едва рассвело, отправился на поиски приметной разветвленной сосны и сразу же увидел ее. На высоте вытянутой руки ствол дерева обвивал выгоревший, побелевший от солнца и непогоды полевой провод. А вот и углубление, поросшее буйной травой.

Как ни утрамбовывали ямку, а земля в ней осела, поросла травой.

У Ивана снова, как в момент сильной тревоги, заколотилось сердце, отдаваясь ударами в ушах и где-то в горле. Ведь сколько времени ждал он этой минуты, такой трудной дорогой добрался к этой сосне, тревожась, обмирая порой от страха, что вдруг не найдет ни сосны, ни этого места. Но постоянно где-то в глубине сознания верил, что все-таки найдет, должен обязательно найти, иначе дальше ему как жить на свете?

Из вещмешка Иван достал прихваченный в дорогу крепкий столовый нож, выкованный еще до революции на заказ деревенским кузнецом. В приметной ямке весело и беззаботно росли серенькие свечки подорожника, поднялся стебель конского щавеля. Сразу как-то ослабевшими от волнения руками Иван сначала зачем-то срубил ножом под корень траву и стал снимать верхний дерновый пласт.

Обгоняя друг друга, беспорядочно крутились в голове мысли о прошлом и будущем. Две волны, два потока прокатилось мимо этой уцелевшей сосны. В сорок первом прошли фашисты, беспощадно уничтожая все живое, во что бы то ни стало завоевывая кресты — черный железный на грудь или низенький березовый с каской сверху — на могилу. Били, жгли, рушили, хотели испугать, поставить народ на колени перед силой танков, самолетов, железных касок. Но покатились мимо этой сосны назад с окровавленной мордой, опять же оставляя за собой подлые следы: сжигая, разрушая все, что осталось, угоняя с собой людей и скот, забирая все мало-мальски ценное. А сосенка, выходит, стерегла комиссарский планшет в своих корнях. Прикрыла его травушка. Может, истлели, сопрели от дождя и снеговых вод бумаги, так что не разобрать ни строчки. А может, и пусто тут, наткнулся кто-нибудь и унес бесценный клад. Хорошо, если свои, а то ведь мог и фашист.

Земля слой за слоем уменьшалась в яме, приближая лезвие ножа к планшету. А если все в порядке и письмо окажется такое, что в нем будет подробно обсказано о том, как оказались они заваленными в блиндаже, то куда, к кому с этим письмом? В райком партии или в военкомат? Но ведь опять же мог капитан написать что-то не так, непонятно. К примеру, упустить фамилию его, Подсолнушкова,— молодой, мол, самый и к тому же не выдержал на третий или пятый день, застрелиться хотел, не поверил в наши силы. Что тогда? А тогда и в райкоме, и в военкомате, и еще кое-где скажут: слабак, морально неустойчивый. Такой,

конечно, сам сдался в плен. А то и в предатели, в полицаи или власовцы запишут. Недаром председатель сельсовета намекнул, что уже интересовались им, бывшим военнопленным.

Вот уже по локоть ушла рука в яму. Глубоковато, надежно закопали тогда заветный планшет. И ведь каждый надеялся на такой вот день, когда придется откапывать его. А пришлось вот ему, Подсолнушкову Ивану.

Ну что он сделал для победы? Ведь могут об этом теперь спросить, и что он ответит? Страдал, голодал, умывался даже мочой старой безумной немки. Правда, сумел обезвредить опасного фашиста, который что-то замышлял. И это все. Не маловато ли для приближения победы и мира на земле? А ведь другие, как тот паренек Саша Матросов, закрывали амбразуры фашистских дотов, чтобы товарищи могли проскочить смертельную полосу и сделать еще один бросок к победе. И все же не изменил Родине Иван Подсолнушков даже в мыслях, во сне.

Сначала, в сорок первом, в сентябре, он еще не совсем понял, какой это лютый и жестокий своей подлостью враг — немецкий фашист, чтобы возненавидеть его до конца жизни. Понял позднее, когда оказался рядом с подонками, одетыми в казавшиеся Ивану кургузыми мундирчики, в сапожки с короткими голенищами, с автоматами, висящими на шее как ярмо. Они могли, не моргнув глазом, размозжить об угол дома череп ребенку, проколоть штыком живот старику, изнасиловать гогочущей толпой десятилетнюю девочку на глазах у матери. И если бы Ивану Подсолнушкову в мирной жизни рассказали о таком, Иван просто не поверил бы, что это может сделать вполне нормальный человек. Сказал бы он, что на земле в настоящее время не может быть таких людей вообще.

Бесконечно волновала, тревожила Ивана долгие годы неволи безвестность гибели всех, кто оказался с ним в блиндаже. Никто не узнает о последнем подвиге капитана Белоконя и старшины Ващенко, о смерти Миши Попова и лейтенанта Кузеева. О себе, конечно, он расскажет кому надо всю горькую, постыдную правду. Но главное тут — знать людям о замечательных ребятах, погибших во имя Победы. Ради их светлой памяти жил все это страшное время Иван. Он найдет адреса родных Белоконя и Ващенко, веселого Миши и молодого командира Кузеева, который так и не получил взвода. В разные дома на разных концах большой страны придут скорбные и гордые строки

о том, что каждый из воинов пал смертью храбрых в боях за Родину.

Ножик уперся в брезент. Иван выгреб горстями землю, теперь темную, влажную на глубине, вытащил сверток и непослушными, сразу как-то ослабленными от волнения руками развернул брезент. Планшет ссохся, побурела, пожухла и сморщилась кожа, бордовой от ржавчины стала застежка.

Внутри оказалась карта, в которую комиссар завернул бумаги. Осторожно разбирая их, пахнущие тленом, глубоким погребом, подземельем и характерным запахом гниющей бумаги, Подсолнушков увидел партбилет капитана Белоконя, анкеты вступающих кандидатами в члены ВКП(б), две из которых были заполнены, почтовый конверт с деньгами — наверное, партийными взносами, какие-то исписанные листы и, наконец, свернутые вчетверо два листа того самого письма, которое сжигаемый гангреной комиссар Белоконь писал при мерцающем свете «катюши» чернильным карандашом. От влаги буквы местами проступили четкими фиолетовыми, а там, где бумага была сухой, остались тусклыми, стального цвета, и письмо от этого казалось рябым. Но почерк был прямым, твердым, будто писал его не смертельно больной человек, часы которого сочтены, а сильный, здоровый, полный боевого духа капитан.

Тщательно обтерев от земли руки травой, Иван стал читать письмо.

«Товарищи военнослужащие Красной Армии или представители гражданского населения, к вам обращается капитан Белоконь В. Н., комиссар 138-го пехотного полка второго стрелкового батальона. Настоящее письмо пишу в необычных условиях, в которых оказался с лейтенантом Кузеевым С. А., старшиной И. И. Ващенко, младшим сержантом И. Р. Поповым и красноармейцем И. П. Подсолнушковым».

Дочитав до этого места, Иван сразу вспотел, радостно заколотилось сердце. Не забыл товарищ комиссар красноармейца Подсолнушкова, рассказал о нем, а главное, упустил в письме его минутное малодушие. И, стерев тыльной стороной ладони пот с лица, он продолжал чтение, не вставая с колен.

«Во время наступления немцев на высоту 83,7 мы оказались в блиндаже,— говорилось дальше в письме.— Тяжелый немецкий снаряд засыпал землей выход из блиндажа. Было организовано круглосуточное откапывание. Все находившиеся в блиндаже держались мужественно и стойко,

не теряли уверенности, что откопаем дверь. Я ранен и в настоящее время началась гангрена раненной ноги, поэтому спешу написать это письмо. Все военнослужащие проявляют большевистскую сознательность, готовы по выходе из заваленного блиндажа сражаться за свободу и честь нашей страны, как и подобает согласно присяге РККА. Все партдокументы я передаю своим товарищам, так как скоро должен умереть от гангрены. Прошу не считать всех вышеперечисленных военнослужащих сдавшимися в плен немецко-фашистским оккупантам, а находившимися до последнего часа в боевом строю. Прошу документы передать в политотдел дивизии (или корпуса, армии), а нас считать в составе родной Красной Армии. Да здравствует наша победа! Смерть фашистским оккупантам!

Капитан Белоконь В. Н., 28 сентября 1941 г., блиндаж на высоте № 83,7».

Иван Подсолнушков аккуратно сложил бумагу в полевую сумку, обернул ее полотенцем и засунул в вещевой мешок.

Взошло солнце. И по дороге к станции вдруг неожиданно стал накрапывать крупный сверкающий дождь из тучи, которая поползла с запада. Иван шел проселком навстречу этому слепому дождю, который становился все чаще, дробнее. И в это время дрогнула в груди светлая, как этот летний сверкающий дождь, радость и светлая печаль. Подвиг, который совершили капитан Белоконь и старшина Ващенко, взорвав склад авиационных бомб, пусть хоть на какое-то мгновение, но ускорил приближение победы. И теперь об этом должны, просто обязаны узнать люди.

Прошла неделя, другая. Уже начали копать картофель, и ясная ветреная погода помогала просушивать клубни. Едва справились с копкой, подул ветер, нагнал тучи, и полил унылый осенний дождь, переходящий в слякоть. Размокли дороги, вспучились речки, до этого спокойные и чистые.

Затосковал в подобие погоды колхозный сторож — одинокий бобыль Иван Петрович Подсолнушков. Ну, поздравили его председатель колхоза, парторг, отсалютовали пионеры. Теперь вроде все стало на свои места: не сдавался в плен солдат Подсолнушков, такая уж доля выпала, да и инвалидом стал через войну, хотя пенсию ему пока все-то не назначали, все требовали в собесе разных справок, да и пенсия, как узнал он у своего одногодка Трофима Кузнецова, причиталась по второй группе, совсем грошовая, а кроме того, надо было временами ездить в райцентр на

медицинское переосвидетельствование: не выросла ли, мол, рука или нога после последней комиссии? И махнул рукой Иван Петрович на эту пенсию.

Все стало забываться — и статья в газете, и рассказы односельчанам о его военном лихолетье. Сторожил Подсолнушков колхозное добро, жил бобылем — еще нестарый человек — в своем старом домике, брал в библиотеке книги и проглатывал их долгими ночами, радуясь, огорчаясь, восхищаясь, завидуя семейному счастью, любви, о которой порою он тяжко вздыхал. И иногда после получки брал в сельповской лавке поллитровку, выпивал ее и спал сном без сновидений.

В канун годовщины Октября в калитку постучалась почтальонша Клава. Кобель Музгар лениво погавкал на ее стук, разбудив Ивана, и тот, пристегнув протез, вышел к калитке.

— Повестка тебе, Петрович,— сказала Клава, протягивая листок.

— В нарсуд?— удивился Подсолнушков.

— Да вроде в военкомат. Призывают, видать, тебя, Петрович,— пошутила почтальонша и зашагала по слякотному проулку к соседнему дому.

Отпечатанная на машине бумажка предлагала Подсолнушкову И. И., 1925 г. рождения, явиться 7 сент. с. г. в райвоенкомат к 18 час. Явка обязательна. И внизу роспись военного комиссара.

Около одноэтажного кирпичного здания военкомата стояли полуторка, а около коновязи — лошади, впряженные в брички и легкую тележку. У крыльца — вызванные в военкомат мужчины и женщины разных возрастов курили и что-то обсуждали. Потом дежурный военкомата пригласил всех в здание, в кабинет военкома.

Густобородый военком — капитан с двумя орденами Отечественной войны и тремя медалями на кителе, с нашивками, желтой — о тяжелом и двумя красными о касательных ранениях — поздоровался с собравшимися, поздравил их с наступающим праздником.

— Все вы воевали, товарищи,— сказал он,— защищали нашу Родину на фронтах. И Родина по праву отметила ваши ратные подвиги. От имени Президиума Верховного Совета СССР мне поручено вручить вам боевые награды.

В это время открылась входная дверь, и к первому ряду быстро прошли музыканты духового оркестра, а вслед за ними — цепочкой пионеры в алых галстуках на белоснеж-

ных блузках и рубашках. Пионеры выстроились в ряд и застыли в пионерском салюте.

Подсолнушков почувствовал, как у него зашевелились от волнения волосы на голове. Сжало спазмой горло, и потекли по щекам слезы. Вот он, настоящий праздник!

Один за другим подходили к военкому бывшие пехотинцы, танкисты, авиаторы. Военком вручил им красные коробочки с орденами и медалями, пожимал руки, и оркестр немного нескладно играл бравурный туш.

Радовался Иван Петрович за своих земляков, которых через столько лет нашли награды. Радовались, ликовали их родные и близкие, приехавшие и пришедшие вместе с ними на это торжество.

«Вот и меня пригласили, чтобы порадовался за земляков,— думал Подсолнушков,— чтобы вспомнить войну. Ведь как-никак, а с самого начала, с границы встретил ее. Спасибо военкому, припомнил и меня».

— Конюхов Савелий Кузьмич,— прочитал стоявший рядом с военкомом лейтенант,— Указом Президиума Верховного Совета награжден орденом Красного Знамени.

Колхозный кузнец Савелий Конюхов, изба которого стояла через дорогу от Ивановой, неловко поднялся, как-то боком, смущенно шагнул к военкому.

— Минутку, товарищи,— поднял руку военком,— обращаясь больше к музыкантам, уже приложившим к губам мундштуки инструментов.— Савелий Кузьмич Конюхов в бою под Уманью, будучи младшим лейтенантом, заменил погибшего комбата, повел в наступление батальон и, успешно заняв два населенных пункта, вывел тем самым полк на оперативный простор. В бою был тяжело ранен. И вот теперь героя нашла боевая награда. Дай поцеловать тебя, Кузьмич!

И что тут было! Три раза гремел туш, собравшиеся аплодировали Кузьмичу, лицо которого цвело счастливейшей улыбкой. Его поцеловала пожилая женщина, пионеры вручили ему букет цветов и повязали пионерский галстук.

И уже к концу подходил список награжденных. Иван Петрович думал о дежурстве, об обратной дороге домой в сумерках по слякотной неблизкой дороге. «А может, переночевать в райцентре у дальней родни да выпить за награды героев с ними за компанию, ведь в колхозе меня подменили на дежурство. Не обернись так дело на войне, глядишь, тоже, может, получил бы награду».

Иван Петрович грустно, тяжело, но без зависти вздохнул.

На столе у военкома все меньше и меньше становилось красных коробочек. После того, как бывшему саперу Закурскому вручили орден, военком сделал объявление:

— Товарищи, прошу не расходиться. После торжественной части прошу всех в чайную на ужин по этому случаю.

«Ну все, останусь ночевать в райцентре, раз всех приглашают на ужин, да и соседа Кузьмича надо особо поздравить».

Потом лейтенант стал читать дальше:

— Указом Президиума Верховного Совета СССР орденом Славы II степени и медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» за спасение партийных документов и проявленную бдительность в тылу врага награжден Подсолнушков Иван Петрович. Рядовой Иван Петрович Подсолнушков в сорок первом был засыпан вместе с другими в блиндаже, оказался в тылу у немцев,— капитан выдвинул ящик письменного стола и достал газету, ту самую, в которой майор-корреспондент писал о военной судьбе Подсолнушкова и его товарищей, показал ее собравшимся.— Тут все о нем сказано. А кроме того, имеются дополнительные сведения.— Он отыскал среди сидевших Ивана и продолжал, обращаясь к нему:— В Германии, в неволе, Подсолнушков сумел обезвредить матерого фашиста, который готовил с группой головорезов диверсию. Спасибо, Иван Петрович,— закончил он и поклонился вконец растерявшемуся Подсолнушкову.

«Вот-те раз,— ахнул про себя Иван Петрович.— Не знал, не ведал до этой минуты, что тот фашист готовил такую пакость. Выходит, разобрался потом комендант, что к чему. А как же хорватка Мария? Ведь и она помогла...»

В чайной было душно от курева. Награжденные поднимали тосты, целовались, запевали фронтовые песни, шутили, вспоминали боевые эпизоды. А Иван Подсолнушков, вдвойне хмельной от счастья и выпитого, бережно щупал награды на пиджаке и плакал.

— Слушай, сосед Кузьмич,— обнял он сидящего рядом кавалера ордена Красного Знамени,— а ведь неправильно мне орден вручили, не мне надо было, а комиссару Белоконю, старшине Ващенко, лейтенанту молоденькому Кузееву да Мише Попову:

Кузьмич удивился:

— Им — что положено, то и получат. А может, уже получили.

— Да пойми ты, сосед! Они геройски погибли, а я вот

живой, да еще награжденный. А я ведь не виноват, что живой. Нет, не виноват. А ребята те — действительно герои, вечная им память. А я...

Подсолнушков зарыдал, содрогаясь всем телом.

Кузьмич похлопал его по плечу:

— Перестань же!

— Ни семьи, ни счастья... Калекой ковыляю, бобылем живу. Ну подумай, сосед, жизнь это? А мне ведь, не гляди, что сивый волос, мне всего-то навсего и сорока еще нет... А кто, какая баба на меня, калеку седого, поглядит?

— Это уж ты совсем зря,— сразу отрезвев, серьезно и как-то даже недружелюбно сказал Кузьмич,— ты хоть сватался к кому? Нет, конечно. А вдов сколько! Сколько их, сердечных, горе в одиночестве мыкают? Эх ты, орденоносец. Стыдно в такой день слезы пускать. Погляди, как люди радуются. А что было, то было. И не горюй ты, Иван, все образуется.

Спал Подсолнушков у дальней родни на топчане. Перед сном, порядком хмельной, показывал хозяевам награды и документы к ним и все горевал о своих фронтовых друзьях, жаловался на свою долю бобыля.

Утром троюродный его брат Порфирий Масленников, собираясь на демонстрацию, разбудил Подсолнушкова и, пока тот прикреплял протез, поставил на стол яичницу и плеснул в стакан самогона.

— С праздником тебя и с наградами!

Но Иван не стал пить.

— Спасибо тебе, брательник, но от выпивки избавь. Мне домой пора. Дежурю сегодня. Да вот и не знаю, как добраться.

Порфирий опрокинул стопку и, зажевывая выпивку моченой капустой, с минуту раздумывал. Потом хлопнул ладонью по столешнице:

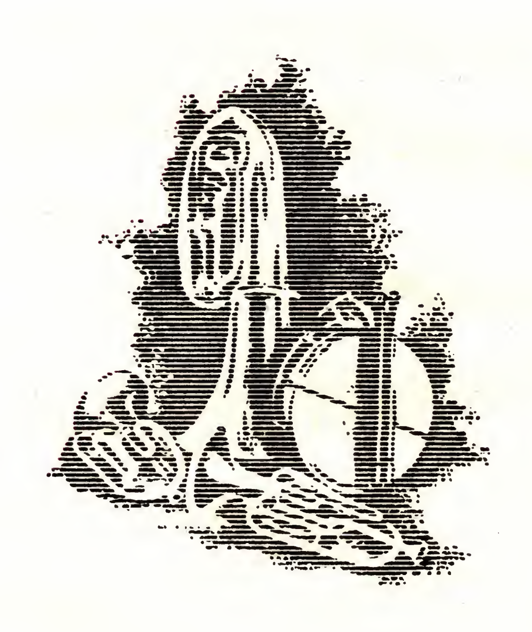
— Раз у тебя такая радость, езжай-ка с нашими артистами из Дома культуры. В аккурат они к обеду к вам выезжают с концертом. Сейчас с ними и договоримся. Пошли.

Майор из военной окружной газеты оказался человеком настойчивым, душевным. Он разузнал адреса родных погибших — Белоконя, Кузéева, Попова, Ващенко, сообщил им адрес Ивана Петровича Подсолнушкова.

Узнал об этом Иван из двух адресованных ему писем. В одном Анна Михайловна Белоконь просила Подсолнушкова описать место, где погиб ее муж Белоконь Василий

Николаевич в звании капитана. Другое письмо было от матери лейтенанта Кузеева. Ивана Подсолнушкова она назвала ласковым словом «сынок» и обещала приехать весной к нему в гости. От родных Попова и Ващенко писем не было. Когда Иван закончил писать ответы, вдруг с каким-то радостным волнением подумал, что обе эти незнакомые женщины теперь навсегда останутся для него родными.

... и медные трубы



На открытой эстраде парка играл военный духовой оркестр. Был праздник Победы, и на аллеях встречались уже немолодые люди, гражданские костюмы которых украшали ордена и медали. Песни и марши их теперь далекой молодости возвращали к суровым годам войны.

Рядом со мной на скамейке перед эстрадой сидел мужчина лет пятидесяти. На лацкане хорошо отутюженного светлого костюма я насчитал на орденской планке девять боевых наград. Глаза у него были какой-то чистой молодой васильковой голубизны, и только седые виски подчеркивали груз прожитых лет. Когда музыканты перестали играть очередную мелодию, человек обратился ко мне:

— Не могу без слез слушать духовой оркестр. Особенно в большие праздники. Я сам бывший фронтовик, музыкант. Вот слушаю и будто вижу себя в погонах, на войне...

Мы закурили, познакомились.

— Дмитрий Иванович,— представился мой новый знакомый.— Про войну, про разные военные профессии написано много, а вот про военных музыкантов как-то не встречал. Кое-что попытался написать, но не получается. А хочется рассказать людям о музыке на войне.

Я взял на себя смелость записать рассказ Дмитрия Ивановича.

МАЙ СОРОК ПЯТОГО

В поверженном Берлине уже не дымились руины. Смыло дождями с брусчаток мостовых и асфальта пятна крови и бумажный пепел из канцелярии рейхстага. Зеленели уцелевшими ветками деревья. Наступило первое послевоенное лето.

На широком плацу у казарм Геринга выстроились в каре подразделения союзных войск. Впереди батальонов, сверкая медью, стояли оркестры: наш, советский, американский и английский. Ждали командование.

Американцы, одетые в аккуратно подогнанные цвета хаки костюмы, напоминающие спортивные, только с крылышками на рукавах, заиграли что-то веселое, бравурное. В бешеном ритме отбивали дробь барабаны. Два негра-саксофониста выделывали виртуозные коленца. Ритм мелодии и тональность то и дело менялись. Военный оркестр напоминал скорее джаз. И парни, которые стояли напротив нас, казались какими-то маскарадными: будто только что их взяли из ресторана, одели в эту форму и привезли сюда, в Берлин.

Потом заиграли вальс англичане. Их оркестр был меньше, но звучал задушевнее. Вальс волновал, напоминал что-то нежное, полузабытое.

Наш капельмейстер — молодой капитан — волновался, наверное, больше всех. Он будто спрашивал нас глазами, советовался: что, мол, сыграть, ребята?

— Товарищ капитан, давайте «Все выше»,— предложил пожилой трубач, стоявший в первом ряду.

Капельмейстер окинул нас взором, ожидая возражений или поддержки, и, прочитав немое согласие, сказал с хрипотцой, появившейся от волнения:

— «Все выше»!

Когда отзвучал последний аккорд английского вальса, грянул наш, советский, оркестр.

Над громадами домов, над широкими улицами со следами баррикад плеснулась широкая, как чистое небо Родины, мелодия:

Все выше, и выше, и выше
Стремим мы полет наших птиц...

Оживленно говорившие до этого американцы прислушались. Я видел, как за чугунной оградой остановился пожилой немец и снял шляпу.

Мы играли, и будто говорили трубы: «Слушайте нас! Мы пришли сюда из далекой России сквозь муки и страдания! Мы пришли сюда победителями. И пусть никогда больше не будет войны. Отступая на восток в сорок первом, мы не сомневались, что рано или поздно придем в Берлин. И вот настал наш час...»

Марш, как птица, взлетал к весеннему небу, где, казалось, в бесконечной лазури все шли и шли армады стальных советских воздушных кораблей.

Подтянулись наши солдаты и офицеры, стоявшие рядом. Я видел, как счастливой гордостью засветились их лица. Мне казалось, что в эти минуты военный марш слушает весь Берлин, вся Германия, весь мир!

Седой майор со звездой Героя Советского Союза замер по стойке «Смирно». Военные корреспонденты что-то записывали в блокноты. А у капельмейстера было такое светлое, одухотворенное лицо, какого я никогда раньше не видел. Может быть, это был и для него самый памятный в жизни день.

Когда мы кончили играть, произошло неожиданное. Первыми, прямо с инструментами, к нам подбежали американцы. Они пожимали нам руки, говорили что-то, предлагали сигареты и жевательную резинку. Кто-то фотографировал нас. Англичане выражали свой восторг рукопожатиями, улыбками.

Был конец мая сорок пятого года. До этого плаца, до этих незабываемых минут вел путь в тысячи километров. На дорогах войны, не дойдя до Берлина, пали многие мои сверстники — боевые товарищи, которым в ту пору едва минул двадцатый год.

ГРЯНУЛА МУЗЫКА ПОЛКОВАЯ

Наш учебный батальон остановился на деревенской площади у здания школы. Комбат, чеканя шаг, подошел к командиру полка и доложил о том, что дневные учения закончены.

Около полковника стояли двое. Один — в артиллерийской фуражке с черным околышем, высокий, смуглый; другой — пониже, с красивыми карими глазами, со смоляными усиками.

— Кто умеет играть на духовых инструментах?— обратился к строю высокий.— Шаг вперед!

Я оказался единственным музыкантом. Первый тенор и баритон были моими любимыми инструментами в мирной жизни.

Офицеры подошли ко мне. Тут же велели сдать оружие и следовать в штаб полка.

— Наверное, самодеятельность?— поинтересовался я по дороге.

— Приказ — создать в гвардейских частях музыкаль-

ные команды,— сказал высокий.— С песней воевать будем, братец!

Я спросил, много ли музыкантов в оркестре, и усатый ответил, что теперь трое. Инструментов нет, поэтому придется ждать, пока появятся трофейные. Предстоит брать их в бою.

Высокий покачал головой и сказал:

— Шутит Миша Пильник. Инструменты будут наши, советские.

В ту ночь мы спали в пустом классе деревенской школы на соломе, покрытой плащ-палатками. Перед сном я спросил, как Миша Пильник и другой, по имени Иосиф Копылов, который был назначен капельмейстером, представляют действия музвзвода на фронте? Но ни тот, ни другой ничего определенного сказать не могли.

Во сне я, вчерашний курсант пехотного училища, без пяти минут командир пулеметного взвода, вел кинжальный огонь. Торопливо, под градом вражеских пуль, заливал в кожух раскаленного «максима» воду.

Потом, точь-в-точь как в кинофильме «Мы из Кронштадта», один из оставшихся в живых, играл на трубе не то что-то грустное, не то торжественное.

Так в мае 1943 года, в небольшой деревне Беломестной близ Белгорода, я стал военным музыкантом.

Когда через три дня в новенькой офицерской гимнастерке, хромовых сапогах и фуражке я появился в учебном батальоне, товарищи, курсанты военного училища, встретили меня по-разному: одни радушно, другие с оттенком какого-то недоверия, с неодобрением.

— Через неделю станем лейтенантами, а ты в музыканты подался,— говорили мне.

И вдруг стало обидно, что ребята вот-вот погоны наденут, а я легкой жизни захотел.

Старшина роты посоветовал мне, пока не поздно, вернуться в учебный батальон.

— На дудках должны играть нестроевики. Твое дело — воевать на передовой,— подвел он итог немногословной солдатской беседы.

И тут я окончательно растерялся.

Вернувшись в школу, увидел, кроме Пильника и Копылова, удивительно белобрысого, какого-то розового парня — почти альбиноса. Это был Вил Гречишкин, родом из Саратова.

Вечером я сказал Копылову, что решил вернуться в учебный батальон. Это — мой комсомольский долг. А кроме

того, через неделю мне присвоят звание лейтенант. Ведь с первого дня войны я больше всего боялся опоздать на нее. А теперь, когда попал на фронт, вдруг стану музыкантом...

Копылов усадил меня, как школьника, за парту и стал говорить о военных профессиях — от солдата до генерала. Выходило, что нужны на войне и пехотинцы, и саперы, и связисты, и повара. Разговор он вел так ловко, что получалось, будто без музыкантов воевать невозможно.

— Устали солдаты в походе. Пыль, жара. Еле переставляют ноги. А где-то впереди — деревня с колодцами, с садами, с девчатами,— говорил Копылов.— Но вид у солдат вовсе не бравый. И вдруг сверкнули на солнце трубы. Грянул марш. И куда девались усталость, жара, жажда? Сразу же подтянулись взводы и роты. Четче стал шаг.

Долго говорили мы в тот вечер о военной музыке. На другой день я не пошел в учебный батальон.

С утра мы уже вчетвером отправились по полкам искать среди солдат своих коллег.

Мы с Пильником зашли к разведчикам. Спросили, есть ли музыканты среди них. Здоровый парень, увешанный орденами и медалями, сказал, что есть. И даже солисты. А находятся они рядом, в овраге за перелеском.

У спуска в балку нас остановил часовой. Миша спросил, где здесь располагаются музыканты. Часовой удивился:

— Ты что, шутник? Здесь подразделение РС.— И тут мы увидели укрытые ветками «катюши».

Посмеялись остроумию здоровяка и пошли дальше.

Среди саперов обнаружили басиста Костю Ковалева, человека лет сорока с лишним, тучного, с маленькими, по отношению к большому носу, глазами.

— Я как раз тот, кого ищете — духовенство,— пошутил Ковалев.— Всю жизнь в духовых оркестрах.

Капельмейстер и Вил привели в школу Виктора Саяпина, молоденького, аккуратного солдата с красивыми, будто удивленными карими глазами, уроженца далекой дальневосточной станции Борзя. Теперь нас стало шестеро. Копылов сказал, что завтра уезжает в Москву за инструментами и командиром взвода временно остается старшина Ковалев как старший по званию и возрасту.

— Дисциплина должна быть железной, без всяких вольностей,— добавил он.

Костя Ковалев оказался удивительно энергичным командиром и в то же время предприимчивым человеком.

После завтрака он строем сводил нас в баню, выдал еще по одной паре новенького белья.

Жили мы теперь по хатам, спали на кроватях. И это произошло тоже по инициативе Ковалева.

Я поселился в хате, стоявшей на самом краю глубокой балки, в которую веселыми аллейками сбегал молодой вишневый сад. Жили в доме старуха и ее дочка лет тридцати пяти. Болезненная, да и к тому же глуховатая, хозяйка относилась ко мне по-домашнему, охотно меняла на молоко мой армейский гороховый суп с американской колбасой.

Копылов приехал через неделю. Ковалев, видимо, получил хороший нагоняй за самодеятельность, ослабление дисциплины и был отстранен от должности старшины. Его заменил Миша Пильник.

В больших ящиках из-под немецких винтовок Копылов привез комплект довольно подержанных, с потускневшим никелем инструментов. Мы разобрали их, очистили от древесных стружек, промыли водой, и вскоре по селу разнеслись первые нестройные звуки.

На знакомую мелодию к нам пришел Боря Гофман — трубач, высокий, худощавый, мой ровесник. Когда он снял пилотку, мы увидели густую седину в его черных волосах.

— Где это ты успел?— спросил Костя Ковалев.

— Там,— кивнул Борис на запад.

Больше никто не стал задавать ему вопросов.

Появление Мити Косенко запомнилось всем. Это был красивый русоволосый парень. Обмотки у него были разные — черная и грязновато-голубая, вещевой мешок — совершенно пустой. Когда новичка спросили, на чем он играет, тот сказал вполне серьезно:

— На всем, начиная с трубы и кончая барабаном.

Копылову такой ответ не понравился.

— Фармазонщик ты, как посмотрю, хотя молод еще,— сказал он.— Запомни, что в истории духовой музыки еще не было универсала, который играл прилично хотя бы на четырех-пяти инструментах. Только одним может владеть настоящий музыкант.

Косенко смутился, но не сдался.

— Конечно, я бы смог играть на барабане.

Сразу же попробовали его способности. И приобрели превосходного барабанщика.

За ним в музвзводе появился Коля Жариков — очень уверенный в себе парень. Прежде чем ответить на вопросы, он как-то снисходительно улыбался и пожимал плечами. Манера эта сразу же не понравилась нам.

В тот же день провели первую серьезную репетицию. Первый марш, который мы сыграли, был «Ленинский призыв», написанный главным инспектором военных оркестров РККА С. Чернецким. Отдышались. Помолчали. И решили, что работать нам предстоит очень много.

Мне казалось, что из-за меня и других таких же молодых капельмейстер просит начать марш в двадцать пятый раз.

Около школы собрались солдаты, офицеры и гражданские. В открытое окно заглядывали любопытные ребятишки. Очевидно, они ждали, когда мы наконец заиграем дружно, весело.

Однажды во время очередной репетиции около школы остановился «виллис» командира бригады. В комнату вошел плечистый, тщательно выбритый полковник, капельмейстер скомандовал «Смирно» и доложил, что музыкальный взвод занимается разучиванием музыкальных пьес.

Комбриг осмотрел нас — одетых разношерстно (новички еще не получили обмундирование) — и приказал адъютанту лично проверить экипировку каждого. Потом спросил, что мы играем. Копылов — он держался свободно, с достоинством,— ответил, что пока толком один-два марша. Комбриг сел на парту и велел сыграть.

Мы играли «Ленинский призыв», «Колонный» и «Галоп». Полковник слушал, слегка отстукивая носком такт маршей. «С завтрашнего дня будете играть в обед в офицерской столовой»,— сказал он, выходя из школы.

Брови у Копылова при этом вопросительно поднялись, он хотел что-то, очевидно, возразить, что, мол, репертуар не для обеда, не подходит. Все мы, кроме, пожалуй, Вила, поняли, как преждевременен этот приказ. Репертуар у нас подходил только для сопровождения в строю рот и батальонов: разве будешь играть бравурный марш в то время, когда идет обед? А вальсов, танго, пьес «для слуха», как говорил Копылов, мы еще не разучивали.

До конца дня отрепетировали и довольно ладно исполнили «Грузинский колонный марш», который, по ироническому замечанию Миши Пильника, должен был способствовать хорошему усвоению пищи.

В обед пришли в довольно просторную хату, где размещалась офицерская столовая. По дороге Копылов предупредил нас, что играть должны только «форте» и «мецце-форте»— то есть громко и очень громко, как и подобает военному оркестру.

Расселись в углу, недалеко от стола, за которым обеда-

ло главное начальство — начальник штаба, командующий артиллерией, председатель трибунала, начальник политотдела и его заместитель по комсомолу. Вскоре пришел комбриг с двумя офицерами и женщиной-военврачом. Копылов взмахнул палочкой. Будто пушечный выстрел, грянули наши трубы. Старались вовсю, не жалея легких. Сидевшие за столом невольно вздрогнули, потом на их лицах появилась растерянность, они смущенно заулыбались. Женщина кокетливо заткнула уши. Когда отзвучал последний такт марша, комбриг с красными пятнами на щеках встал, скомкал салфетку и жестом приказал нам покинуть помещение.

Возвращаясь в школу, мы начали было обсуждать только что происшедшее, но Копылов скомандовал:

— Отставить разговоры в строю!

Впрочем, каждый из нас тогда понял, что, не прикажи капельмейстер играть слишком громко, может быть, пришлось бы нам ежедневно вот так приходить на обед, словно в ресторане. Мы опасались, что эту хитрость Копылова разгадал полковник, и капельмейстеру, а заодно и нам, может крепко нагореть, но все обошлось благополучно, да и дальнейшие события заставили всех вскоре забыть об этом.

Хмурым, с низкими облаками, утром, когда самолеты редко вылетают на бомбежку, к нам пришел командир комендантского взвода и передал Копылову приказание комбрига явиться в расположение полка на строевой смотр.

Полк выстроили в овраге за южной околицей села Беломестного.

На широкой поляне выстроились в полном боевом вооружении батальоны: автоматчики, пулеметчики, взводы истребителей танков с длинноствольными ПТР. Немного в стороне виднелись палатки медсанроты, повозки связистов, штабные подразделения. Командир прошел мимо строя, косяглазами на пригорок, где стояли офицеры, и подал команду:

— Полк, смирно! Равнение на середину!

Чеканя шаг, он подошел к командиру бригады и отрапортовал, что вверенный ему полк выстроен для прохождения строевого смотра.

Комбриг поздоровался со строем. Ему дружно ответили батальоны. Потом покатились, передаваемые по инстанции, команды. И под звуки марша мимо нас двинулись батальоны.

Было что-то торжественное и грозное в этом движении. Солдаты были выбриты, подтянуты. В их лицах читались сила, решимость, мужество. Невольно пришла мысль — эти

люди бесстрашно встретят врага. Жестоко и упорно будут биться с ним — отлично вооруженным, обученным. Гордо звучал марш. Сверкала медь труб, а передо мной словно Родина шла: русские и узбеки, татары и грузины, чуваши и казахи... Шли, как братья, плечом к плечу, шаг в шаг. Вот когда я испытал гордость за свое дело.

Спустя несколько дней, спешно захватив вещевые мешки, шинели, инструменты, мы покинули Беломестное и двинулись на запад, к фронту.

Новое место, где расположилась часть, было мелколесным, изрезанным неглубокими балками. До этого здесь уже стояли части, поэтому подразделения разместились в обжитых землянках. Музвзводу выделили две: в одну из них ушли Копылов, Ковалев и Пильник, а в другую — остальные семеро. Меня назначили часовым.

Прохаживаясь у землянки, я слушал ночные звуки прифронтовой полосы: легкий шум листвы, лошадиный храп, почти непрерывное гудение невидимых самолетов и грозный гул теперь уже совсем близкого передового края, над которым тревожно-ало светилось небо.

Я вспомнил о доме, о матери, о родных и близких. Мысленно беседовал с каждым из моих новых друзей. Выходило, что все они замечательные люди, с которыми не страшны любые трудности и испытания. Все были разные, имели свои привычки, манеры, особенности. У каждого было много нерассказанного о себе и, наверное, самого интересного.

Местность называлась Гнилым яром, наверное, от того, что в низинах было болотисто, пахло застоявшейся водой и какой-то травой с очень резким, незнакомым мне запахом. В мирное время здесь, может быть, располагался стан пахарей и косарей. А сейчас, распуганные войной, по кустам кое-где порхали редкие птицы.

После завтрака мы с Прыгуновым решили обследовать окружавший землянки орешник. И вдруг наткнулись на немецкие листовки. Белые листы, словно змеи, притаились под кустами. Мы посоветовались: читать или не читать? Решили — прочесть.

Напечатанная на русском языке листовка призывала нас, русских солдат, сдаваться в плен. Это якобы была гарантия сохранить жизнь и получить хорошее питание.

Мы были потрясены: на кого рассчитывали немцы, разбрасывая с самолетов эти воззвания? Мы уже видели зверства фашистов, убитых людей, дотла сожженные города и деревни. И после этого нам предлагали сдаваться в плен? Мы подобрали эту мерзость, изорвали в мелкие клочья и втоптали в землю.

В Гнилом яру полки стояли дней десять. Так же, как и в Беломестном, мы аккуратно проигрывали по утрам гаммы, разучивали поодиночке и всем оркестром новые марши, вальсы, простенькие концертные пьесы.

Самым разным было отношение к нам солдат и офицеров. Увидев музыканта с инструментом, кто-то добродушно шутил. И от улыбки радостно становилось на душе. Я в таких случаях думал о том, что, очевидно, каждый при виде музыканта вспоминал свое, далекое, родное, мирное. Может быть, первомайский праздник или торжество в рабочем клубе по случаю вручения Красного Знамени, или танцы в парке. А может быть, веселую свадьбу — словом, все то дорогое, милое сердцу, ради чего сейчас наши полки готовились к новым битвам. Все гордились тем, что у нас появились военные оркестры. Заметно веселее стала солдатская жизнь, острее чувство победы.

Впрочем, встречались и такие, кто не скрывал своего пренебрежения к военным музыкантам.

— Духарики! С кривыми ружьями воевать приехали?— кричали иногда нам вслед. И было неприятно слышать такое, разбирала обида. Тем более что вместе со всеми мы жили в постоянной боевой готовности.

С запада, где проходил передний край, непрерывно доносился грохот, напоминая неутихающую ни на час летнюю грозу.

Однажды капельмейстер сообщил, что наш музыкантский взвод переходит в боевое подразделение. На время военных операций мы становимся стрелками. Были назначены командиры отделений. Каждый получил автомат.

Маскировка в Гнилом яру соблюдалась самая строжайшая: не разрешалось днем разжигать полевых кухонь, но повара ухитрялись каким-то образом варить вкусный гороховый суп, заправленный американской колбасой. Командиры предупредили, что зажженная ночью спичка может демаскировать наши части, и тот, кто это сделает, будет немедленно предан военно-полевому суду. Строгость не была лишней: почти целыми днями в небе кружились фашистские самолеты-корректировщики —«рамы».

Каждый день на проческу уходили несколько рот. Однажды привели фашистского разведчика, одетого в форму русского лейтенанта. Поймали его недалеко от старой землянки, где он устанавливал рацию. Я видел, как двое автоматчиков вели шпиона к автомашине. Был он смертельно бледен, пугливо оглядывался по сторонам белыми от страха глазами. На следующую ночь горела железнодо-

рожная станция. Рвались склады, пылали составы с продовольствием. До утра мы тушили пожар, расталкивали вагоны, заливали водой горящие тюки, ящики, банки. Часть имущества и продовольствия удалось спасти.

В Гнилой яр возвращались под утро усталые, в прожженных гимнастерках. Капельмейстер впервые отменил в тот день занятия.

КУРСКАЯ ДУГА

Как-то вечером в нашем расположении появился связной из штаба. Он отыскал землянку капельмейстера и юркнул под плащ-палатку, закрывающую вход. И сразу же вслед за ним выскочил Копылов.

— Трубачи!— крикнул он.— Ко мне! Играть тревогу!

Оказалось, никто не знал этого сигнала. Капельмейстер сам схватил трубу, и в вечерний сумрак понеслись беспокойные звуки.

— Тревога! Тревога!— раздалось по землянкам. Послышались команды, зазвенело оружие. А Копылов все сыпал и сыпал звонкое серебряное стаккато в тишину Гнилого яра.

Потом он отдал трубу Борису и сказал:

— Пять минут на сборы. Начинается наступление.

Мы собрались, выстроились. Слова, что сказал капельмейстер, запомнились каждому из нас:

— Я сейчас пережил, может быть, самое постыдное за все время войны. Никто из вас не знает сигнала «Тревога». Часть вины я беру на себя.— Он сурово помолчал и сухо добавил:— Пока у нас нет настоящего музыкального взвода. Но он будет, товарищи!

Нам было стыдно. Особенно трубачам. А впрочем, откуда было им, вчерашним школьникам и студентам, игравшим самые мирные песни и танцы, знать торжественный и вместе с тем суровый язык военной музыки?

С того вечера и до конца войны я не видел, чтобы Копылов, несомненно, прекрасный трубач, вся жизнь которого прошла в военных оркестрах, брал трубу и играл. Правда, когда он оркестровал музыкальные пьесы, личная его, томпаковая труба стояла раструбом на колене. Иногда он что-то тихонько подбирал на ней и вслед за этим торопливо писал нотные знаки на специально разлинованных листах.

В кузове штабной трехтонки мы выехали на большак. Шофер зачем-то остановил машину и заглушил мотор. И

тут я услышал приглушенный расстоянием сплошной гул. Гремели сотни орудий, алел горизонт. Там начиналась одна из грандиозных битв Великой Отечественной войны, которую позднее назовут битвой на Курской дуге. А впереди нас лежал Белгород. Спешным маршем из третьего эшелона туда двинулись наши свежие полки.

Через несколько километров появились первые раненые. Их везли в кузовах автомашин. У кого были целы ноги, шли пешком.

Один из них энергичными жестами остановил нашу машину.

— Музыканты! Жалко, что скоро не догоню вас,— сказал он.— Я трубач. Может, кто видел меня в Минске? Я в ресторанах играл.

Но никто из нас в Минске не бывал, не знал этого человека в испачканной глиной гимнастерке.

Мы спросили, как на передовой.

— Там, братцы, трудно. Очень трудно.— Его взгляд углубился в себя, словно он вновь представил поле боя. Потом трубач попросил закурить. Пожелав доброго пути, он пообещал после госпиталя догнать наш взвод.

У въезда в маленькое, утопающее в зелени село нас остановили автоматчики. Стоявший у шлагбаума лейтенант спросил, кто мы такие, и, когда Копылов сказал, что музыкантский взвод, обрадовался:

— Только что начальник медсанбата спрашивал о вас. Вот к тому лесочку поезжайте.

Сошли у больших палаток, верх которых был забросан зелеными, еще не успевшими завянуть ветками. Через несколько минут нас распределили по отделениям санитарного батальона. С Николаем Жариковым мы попали в эвакоотделение, которым заведовал молодой военфельдшер Саша Долгов. Оказывается, он уже воевал под Сталинградом, был четыре раза ранен и имел орден Красной Звезды и три медали. Мы сразу прониклись к Саше уважением не только за то, что он многое успел повидать на войне, но и за его мягкий, общительный и веселый характер.

Палатки только что натянули и ждали раненых, которые пока отправлялись в ХППГ — хирургический полевой пересыльный госпиталь — прямо из полевых санрот на попутном транспорте. Через час примерно появились раненые и у нас. Их перевязывали или оперировали и лежащих на носилках несли в нашу палату. Отсюда раненых увозили в тыл.

Когда была заполнена вся палатка, Саша направил меня

в полевой госпиталь, находившийся в селении Короча. Он вручил мне железную никелированную коробку со шприцем внутри, несколько ампул, показал, как нужно в случае необходимости делать укол. Раненых плотно уложили в кузов трехтонного грузовика, и мы двинулись в путь.

По дороге шофер решил долить в радиатор воды и свернул с большака на проселок, который, по его словам, должен вывести к речушке. Шофер, немолодой, степенный солдат с нашивками о ранениях, уже, видать, бывал здесь раньше. Проехав уверенно примерно с километр, мы увидели небольшую речушку в илистых берегах. Когда водитель залил воды в радиатор и мы развернулись к большаку, впереди над дорогой мелькнула тень и послышался грохот авиационного мотора. В кузове закричали раненые. Я увидел, как немецкий самолет на бреющем полете развернулся на нашу автомашину. Из его плоскостей сверкнули огоньки пулеметных очередей. За какие-то доли секунды фашистский «мессер» прогрохотал над нами. Я не понял сначала, почему машина остановилась. Глянул на ветровое стекло, на радиатор, прошитый пулеметной очередью, и понял: стряслась беда. Шофер убит. Я выскочил из кабины и заглянул в кузов. Той же очередью, прошедшей слева от меня, задело двух солдат и капитана-артиллериста. Мотор разбит, задний скат автомашины осел. Я выбежал на шоссе, остановил первую машину и рассказал водителю о случившемся.

— Никак, браток, не могу. Хоть стреляй. Еду за снарядами,— сказал мне шофер и, извиняясь, посоветовал останавливать подряд все идущие в тыл машины. Наверняка кто-нибудь возьмет раненых. Я так и сделал. Наконец из кабины остановленного мной автомобиля выпрыгнул старший лейтенант медицинской службы. Он выслушал мой взволнованный и сбивчивый рассказ о случившемся и приказал лезть в кузов. Подъехали к нашей трехтонке и вместе с шофером и старшим лейтенантом перенесли раненых в кузов, убитых тут же похоронили. Старший лейтенант приказал мне возвращаться в медсанбат и доложить Долгову о случившемся.

В медсанбат я вернулся уже глубокой ночью. Коля Жариков, оставшийся вдвоем с Долговым, валился с ног от усталости. Я предложил ему идти спать, но Николай наотрез отказался:

— Какой тут сон? Смотри, сколько людей!

Большинство солдат и офицеров молча, мужественно переносили боль. Стонали и бредили только тяжелораненые.

К утру с передового края в числе тяжелораненых в

операционную поступил старшина. Разрывом немецкой мины его ранило четырнадцатью осколками: перебило обе ноги и руки, изуродовало лицо... Он без конца запевал хриплым баритоном:

Напрасно старушка ждет сына домой,
Ей скажут, она зарыдает...

Даже когда на лицо ему наложили маску для наркоза, морячок продолжал песню...

После операции его принесли в нашу палату на носилках. Старшина спал. Я не дождался его страшного пробуждения: три пустоты под серым суконным одеялом обозначали те места, где у него были ноги и рука. Военврач Теплякова говорила, что если она после войны расскажет об этом случае своим московским коллегам, то вряд ли те поверят, что человек может вынести такое...

Позднее я узнал о подвиге этого воина. В батальоне он служил поваром. Рослый, крепкий, весельчак и балагур, бывший флотский кок, он неплохо справлялся со своими обязанностями и в пехоте. Он участвовал в Сталинградской битве и теперь в составе морской бригады сражался на Курской дуге.

...Под деревней Мясоедово бой был неравный. Немцы бросили на небольшой участок много танков и пехоты, обстреливали наши позиции из орудий, минометов, вели плотный ружейный и пулеметный огонь. Потери росли. К тому же прямым попаданием убило командира взвода. Его заменил сержант.

Вечером, когда обстрел немного стих, повар наполнил из кухонного котла термосы кашей и направился на передовую. Он благополучно достиг траншеи и стал раздавать еду. В это время с немецкой стороны началась стрельба. Сержант пожаловался, что вот уже скоро сутки, как фрицы не дают поднять головы. Оттого и потери большие.

— А вы попробуйте контратакой отбить у них этот бугор,— в шутку сказал повар.— Прямо врасплох захватите, выбейте фрицев, и будет полный корабельный порядок.

Он собрался уходить. Сержант в это время повернулся, чуть приподнялся над бруствером и тут же упал, смертельно раненный в голову. Бойцы заволновались.

Повар осмотрел ход сообщения и все пространство нейтральной полосы. С минуту подумав, он обратился к бойцам:

— Ребята, я временно принимаю командование. Не может взвод быть без командира.

Вскоре после сильного артиллерийского налета немцы поднялись в наступление. Новый командир подождал, пока они достигли примерно половины нейтральной зоны, и повел взвод в контратаку. Сам он первым выскочил из траншеи. Солдаты вступили в рукопашную и, сломив наступление немцев, успешно продвинулись вперед. Были заняты немецкие траншеи. Наступление поддержали соседи справа и слева...

Вот трое немцев навалились на молоденького солдата, причем никто из них почему-то не стрелял. Повар в три прыжка очутился рядом, заколол одного немца, ударил прикладом в плечо другого. Солдат, наконец, выстрелил в третьего. И в это время рядом разорвалась фашистская мина... Вот так дрался корабельный кок, смекалистый русский солдат...

На другой день поток раненых заметно уменьшился. А к вечеру поступила команда к переезду на новое место. Настроение у всех было приподнятое, хотя никто из нас за трое суток не сомкнул глаз. Наши войска, сломав вражеские заслоны и перейдя в наступление, вышли на оперативный простор. Впереди лежал Харьков.

По дороге остановились в небольшом — в три дома — хуторке, стоявшем на лесной опушке. Довез нас туда шофер из артиллерийского полка. Переночевав в запущенном, грязном домике, рано утром тронулись к большаку по зеленой низине. Впереди виднелись два наших обгорелых танка, валялась убитая лошадь. В конце поляны появились двое солдат. Они жестами приказали нам остановиться.

— Стой! Мины!—донеслось до нас.

Шофер выключил мотор. Словно норы кротов, чернели вокруг нас ямки немецких мин. Оказывается, саперы еще полностью не разминировали низину.

Едва вышли на большак, как на проходившую колонну автомашин налетели немецкие самолеты. Началась жестокая бомбежка. Прямо на нас мчалась трехтонка, груженная снарядными ящиками. Шофер с серым от страха лицом гнал машину к опушке. Вот он свернул на зеленую лужайку. Мы невольно сжались, ожидая взрыва мины. Проехав полсотни метров, водитель остановился и, встав на подножку, наблюдал за тем, как фашистские самолеты бомбили шоссе.

Впрочем, если не считать единственной подбитой ремонтной «летучки», ущерба вражеские самолеты не причинили.

Когда фашистские стервятники ушли, мы собрались у обочины. Копылов спросил, все ли в порядке. Мы ответили, что никто не пострадал. Тогда он приказал двигаться вперед в пешем строю. Шофер, с которым мы ночевали на хуторе, в суматохе куда-то исчез. И тут Виктор Саяпин спросил:

— Ребята, а где моя труба?

Как ни напряжены были после только что пережитого нервы, мы дружно засмеялись и стали искать пропажу. Нашел трубу Миша Пильник. Инструменты у нас, кроме баса, были в зеленых футлярах, сшитых из плащ-палаток или вещевых мешков. У меня, например, тенор умещался в вещевом мешке.

Построившись в колонну по два, двинулись по обочине дороги вперед. Отошли метров двести, и в это время сзади раздался взрыв. Обернувшись, увидели, как падали, поднятые взрывом, щепки от снарядных ящиков, куски жести, тряпки: это все-таки взорвалась на самом краю заминированной лужайки автомашина со снарядами.

ЗДРАВСТВУЙ, ХАРЬКОВ

К Харькову подошли к вечеру. Когда появились постройки пригорода, около сухой балки нас остановил солдат в каске и накинутой поверх гимнастерки плащ-палатке.

— Дальше нельзя, передовая,— сказал он.

В сумерках я увидел траншею, бруствер которой был замаскирован ветками. В кустарнике стояли 45-миллиметровые пушки, как их называли, «сорокапятки». Появившийся старший лейтенант спросил, кто мы такие, как оказались здесь? Мы рассказали, что ищем свою часть. Старший лейтенант выслушал нас, попросил подождать и куда-то исчез. Через некоторое время вернулся и велел нам немедленно идти в расположение тылов полка.

На передовом крае в это время было относительно тихо. Молчали обе стороны. Лишь изредка, где-то на флангах, раздавались одиночные винтовочные выстрелы и короткие пулеметные очереди. Копылов попросил у старшего лейтенанта разрешения остаться в расположении его взвода, так как ночью мы все равно не найдем ни места для ночлега, ни своих. Нам разрешили.

На заре началось наступление на Харьков. Тысячи трассирующих пуль пересекали чуть светлеющее небо. От грохота снарядов дрожала под ногами земля, «ура» было

чуть слышно, его заглушал сплошной треск пулеметов и автоматов. Полк, в который мы попали, наступал в районе пограничного училища.

Взрывы мин и снарядов, грохот авиабомб, которые сбрасывали наши и немецкие самолеты, кровь раненых, обезображенные трупы — все это смешалось в моем сознании. Я впервые увидел войну во всем ее ужасе.

Вот немец выскочил из-за развалины кирпичного разрушенного строения и, отстреливаясь из автомата, побежал назад, но, будто споткнувшись, взмахнул руками и упал лицом вниз. Вот остановились, точно наткнувшись на что-то твердое, невидимое, сразу двое наших пехотинцев. Один из них схватился за живот, сделал несколько шагов и упал, другой — за лицо и тут же повалился на землю.

За наступающей цепочкой пехоты густо взметнулись фонтаны взрывов. Вслед за этим снаряды разорвались неровной линией, которая оттянулась дальше. Взрывы и на этот раз не достигли цели, а рукопашный бой шел уже на окраинах города. Нашлась работа и для наших автоматов.

После трудного дня на ночлег мы расположились в небольшом домике, хозяева которого, видать, в начале войны были эвакуированы. В воздухе пахло гарью. В центре города еще гремели взрывы, а один из районов на наших глазах только что отбомбили немецкие самолеты.

Многострадален Харьков. Страшные раны оставила в нем война. Стояли целые кварталы коробок выгоревших многоэтажных домов. Груды кирпича обозначали бывшие здания. Из рассказов харьковчан я узнал о страшной их судьбе во время фашистской оккупации. А позднее об этом публиковалось в печати.

В конце октября сорок первого истекающие кровью наши войска после жестоких кровопролитных боев вынуждены были оставить Харьков. Затем в мае сорок второго начались наступление, штурм города нашими дивизиями. После тяжелых боев наступление провалилось. В середине февраля теперь уже сорок третьего удалось освободить, наконец, город, однако в марте пришлось его оставить. И вот теперь, в августе этого года, Харьков был взят штурмом.

Вот печальная статистика тех лет: из 840 тысяч по переписи 1940 года к августу сорок третьего в нем осталось всего 190 тысяч человек. Оккупанты расстреливали, уничтожали в газовых «душегубках» народ, молодежь угоняли в Германию как рабочий скот.

Таким мы увидели этот большой город.

В 1943 году Президиум Верховного Совета СССР опубликовал указ: смертную казнь через повешение изменникам Родины.

На площадь Дзержинского — самую большую в то время в стране — на казнь трех бывших карателей пришли бойцы и командиры наших частей и гражданское население.

Их привезли к заранее приготовленной виселице в грузовике с открытыми бортами. Помню белые искаженные от ужаса лица двух молодых бывших уголовников и постарше — кулака.

У каждого на груди дощечка с надписью «Изменник Родины».

Во время этой казни произошел грустный и смешной, если его можно так назвать, случай. Когда был зачитан приговор и казнь предателей свершалась, в толпе гражданского населения вдруг раздался истеричный женский крик:

— Шоб вам очи повылазили, ворюги!

Толпа смешалась, на крикнувшую женщину накинулись: чего, мол, орешь, кто ворюги? И неизвестно, чем бы это закончилось для пожилой селянки, если бы не выяснилось, что в самый напряженный момент казни, когда взоры всех стоящих в толпе были обращены к виселице, у нее кто-то стащил мешок с продуктами, который, впрочем, вскоре был возвращен.

В Харькове мы увидели милиционеров. Их наши солдаты встречали веселыми дружественными приветственными шутками, и на одной из улиц милиционера солдаты даже стали качать, сопровождая его полеты озорными шутками: в город прочно вошло освобождение, Советская власть, давайте, товарищи милиционеры, наводите порядок.

Дивизия расположилась на Холодной горе. Мы заняли домик недалеко от штаба. Вскоре оттуда пришел посыльный за капельмейстером. Вернувшись, Копылов рассказал, что местные жители, увидев нас, попросили командование дать концерт духовой музыки, по которой они стосковались, как, впрочем, по всему советскому. Прямо на улицу вынесли скамейки и стулья, открыли концертные сборники, которые мы называли «сериями». И первыми зазвучали мелодии из оперы «Запорожец за Дунаем».

А как дирижировал Копылов! Держался он прямо! Голову поднимал так, что смотрел на нас как бы свысока. Но самое главное заключалось, конечно, в движениях его рук. Поднятые на уровне плеч, они означали «приготовиться». Копылов смотрел на нас сосредоточенно и строго. И мы,

набрав в легкие воздуха, ждали последующего движения. Если это был военный марш,— взмах был резкий, отрывистый. Копылов перекрещивал руки. Затем, задав темп марша, обращался к каждому из нас со строгим повелением. Вот движение в сторону трубачей — и те ведут сольную партию. Едва она кончается, начинается дуэт баритона и тенора. Соло басов — капельмейстер приподнимается на носках, требуя от мощных геликонов полного голоса.

Веселые польки, галопы, небольшие пьесы он заставлял играть легко, задушевно. И сам при этом хранил лукавое выражение глаз. Зато вальсы, которые Копылов страстно любил, исполнялись широко, немного задумчиво. При этом наш капельмейстер преображался. Лицо мечтательное. Жесты плавные, подчеркивающие широту прекрасной, никогда не стареющей музыки Штрауса и Вальдтейфеля, Кальмана, Чайковского... Дирижировал Копылов даже в тех случаях, когда, казалось, этого совсем не требовалось, например, когда играли походный марш или развод караулов. Мы привыкли к каждому жесту, хорошо понимали его. Если мелодия не ладилась — кто-то брал фальшивую ноту или сбивался с такта, что бывало исключительно редко, Копысов хмурился. Это было неприятно всем нам — будто он обругал сфальшивившего музыканта, из-за которого нарушилась стройная мелодия оркестра. Если фальшь повторялась, капельмейстер закусывал нижнюю губу и даже бледнел. Однако он никогда не делал замечания в присутствии слушателей. Зато потом, когда мы возвращались «домой», устраивал жестокий беспощадный разнос. И, конечно, тот, кто проштрафился, занимался столько, чтобы никогда не сбиваться на этом месте. Но в тот день, когда мы играли на одной из украинских улиц, Копылов был в ударе. Все почувствовали себя представителями Красной Армии, которая принесла людям долгожданную свободу. Слушателей становилось все больше и больше. Они выходили из подвалов, из руин. Слушали молча, не шевелясь, точно боясь пропустить хоть один звук из популярнейшей украинской оперы «Запорожец за Дунаем».

А потом начались танцы. Вот молодой лейтенант ввел в вальс зардевшуюся дивчину, каким-то чудом спасшуюся от фашистской неволи. Оба счастливы, радостно улыбались и немного смущались тому, что их счастье было так заметно для всех. Вот появляется пара пожилых супругов. По случаю праздника они приоделись в сохранившиеся довоенные костюмы. Счастье переполняло их сердца, и старые люди выражали его добрыми улыбками, рукопожатиями.

Нас плотно облепила детвора. Дети всегда рядом с нами. Подходят так близко, что порой ощущаешь затылком их горячее дыхание.

— «Синий платочек», пожалуйста,— просит медицинская сестра с орденом Красного Знамени и тремя медалями на гимнастерке.— Это моя любимая песня.

— А «Гопака» играете?— спрашивает пожилой дядько с висячими усами, одетый в косоворотку по случаю сегодняшнего праздника.

Звучит «Синий платочек», и благодарная девушка дарит нам теплую улыбку. При звуках «Гопака» дядько настолько волнуется, что даже смахивает с ресниц слезу. Потом робко, а затем все энергичнее, задиристее отбивает каблуками такт танца.

Через несколько дней дивизия пошла на отдых. Музвзвод расположился в дачном поселке, который каким-то чудом сохранился от бомбежек, артиллерийских обстрелов. В нем не пострадал ни один дом.

— Пока полки пополняют свой состав,— сказал Копылов,— мы должны расширить свой репертуар.

Занятия шли целыми днями. Разучивали довольно сложные пьесы, новые марши, песни, наверстывали упущенное.

Мы «оккупировали» сцену небольшого поселкового клуба, зал которого был завален деревянными крашеными скамейками. До войны здесь наверняка проводились праздничные торжества, со сцены звучали песни самодеятельных артистов, а потом были танцы под духовой оркестр. За пыльными изодранными кулисами нашли разбитое пианино, пюпитры и стопку нот. Это были фокстроты и танго довоенных лет: «Дымок от папиросы», «Аникуша», «В парке Чаир». Духовых инструментов в клубе не сохранилось.

Как сейчас вижу эту сцену. Мы сидим полукругом — справа трубачи, слева кларнетист, в центре тенор и баритон, за ними — вторые голоса.

Гурий Прыгунов — единственный среди нас грамотный музыкант. У него слегка вьющиеся волосы, правильные черты лица, серые выразительные глаза. Он редко улыбается, почти всегда строг и задумчив. Любит рассказывать о красивом городе Муроме, о своих замечательных земляках — людях мастеровых, талантливых умельцах, о студентах, с которыми три года делил хлеб и соль, радости и горе. В институте он научился играть на кларнете. Родителей у Гурия не было, воспитывался в детском доме, работал на заводе токарем, откуда и поступил в институт. До войны он успел прочесть полное собрание

сочинений Горького, Джека Лондона, Куприна, Диккенса, Сервантеса...

До того, как попасть в музвзвод, Гурий был минометчиком в пехотном полку. В армию его призвали в сорок первом. За это время он трижды побывал в окружении и всякий раз выходил из него цел и невредим. В последнем бою его ранило. Выше правой брови у Прыгунова остался блестящий рубец от осколка.

Как-то при мне Гурий развязал свой довольно пухлый вещевой мешок и выложил содержимое: чистые носовые платки, белые тряпочки для подворотничков, зубную щетку и несколько книг: «Словарь политических терминов», «Основы ленинизма», томик стихов Валерия Брюсова. Их он нес от западной границы. Я спросил о книгах: зачем их нести в такую даль?

И Гурий рассказал такую историю.

«...Как-то в окружении я разложил на траве книжки, чтобы просушить, так как ночью переплывали реку и они вымокли. В это время подошел командир взвода. Нагнулся, посмотрел оглавление книг, хмыкнул: «С «Основами ленинизма»,— говорит,— в плену с тобой долго не будут разговаривать».—«А почему я должен сдаваться живым в плен?— спрашиваю лейтенанта.— Если на то пошло, то у меня в кармане еще и комсомольский билет».—«Вот, вот, тебе как раз первому и не поздоровится. При случае немцы с тебя начнут свои экзекуции».— Говорит, а сам внимательно, словно изучая, смотрит на меня.

Очень удивил меня лейтенант — кадровый командир, встречавший, наверняка, не раз смерть. «Почему он так страхуется и намекает на плен?» Но лейтенант внес ясность: «Все это верно, солдат. С этой книгой и с таким настроением в плен живым не сдаются. Значит, ты об этом и мысли не допускаешь. Значит, будешь биться насмерть с врагом».

И стали мне понятны слова командира»,— закончил рассказ Прыгунов.

После войны Гурий мечтал стать инженером. Но как далеко было нам до осуществления этих планов!

Трубач Борис Гофман, молодой парень, наш одногодок, родителей своих не помнил, воспитывался у тетки в Бобруйске. С первого дня войны пареньку пришлось испытать такое, что его смоляные волосы стали серебристыми от седины. Он видел, как закапывали людей живьем в землю, как насиловали совсем маленьких девочек. Только чудом пробрался Борис за передовую линию. Очутился он в пехот-

ном училище, откуда попал вместе с другими курсантами под Белгород. Был он нервный, легко ранимый и скрытный.

Прекрасный трубач, он обладал красивым чистым звуком и довольно высокой техникой исполнения. Среди нескольких трубачей легко было угадать Гофмана по его характерным синкопам, по крещендо, по рисунку игры. Занимался он больше других. Почти все свободное время посвящал упражнениям из учебника для трубы.

— Если останусь живым,— говорил он,— поступлю в консерваторию.

Второй трубач, Виктор Саяпин,— самый низкорослый в музвзводе парень. Он как-то не то всерьез, не то в шутку сказал, что на призывном пункте его военную судьбу решил сантиметр. Когда измеряли рост, Виктор, оказывается, чуть приподнялся на носках.

Беспечный, немного рассеянный, добродушный и компанейский, Саяпин был сначала предметом дружеских «подначек»— подтруниваний, розыгрышей. Однако на это он никогда не обижался, и вскоре его перестали разыгрывать. Как музыкант Виктор сначала не понравился Копылову: звук у него был резкий, техника — невысокой. Капельмейстер предупредил Саяпина, что если он не будет упорно заниматься, не «поставит звук», придется уступить место второго трубача другому музыканту. Виктор внял совету капельмейстера, стал дольше заниматься, однако звук у него не изменился, хотя техника исполнения и стала выше. Любили мы Виктора за его душевность, участливость, за готовность поделиться последним, за то, что в трудный момент он не раз выручал из беды товарищей.

Виктор своим ростом напоминал мальчишку-шалуна, которого одели в военную форму и заставили изображать военного. Ребячество так и перло из него. О будущем он никогда не говорил всерьез. Отец у него был машинистом паровоза на дальневосточной станции Борзя, многочисленные братишки и сестренки учились и работали. Письма из дома он получал аккуратно, но отвечал на них редко.

— Не могу я много писать,— жаловался он нам,— а десять строчек, что жив-здоров, посылать неудобно...

Баритонист Николай Жариков — уроженец Ворошиловграда. Вначале он не понравился буквально всем манерой своего поведения — позерством, высокомерием. Прошла неделя, другая, и он оказался в одиночестве, с ним стали редко разговаривать. Однажды Костя спросил его:

— Чего ты, Николай, изображаешь из себя какого-то лорда?

— Кого, кого?

— Иоганна Штрауса — вот кого! Чего надуваешься, важничаешь? Заметил, что ребята стали тебя сторониться? Придет час, и скажут: «Маэстро, не нужен в музвзводе граф Потоцкий».

Жариков покраснел, смешался:

— А разве я что-то не так? Вроде я ничего...

— Вот именно, что ничего. Вон Гурий Прыгунов, можно сказать, ученый человек, а держится с нами как положено, как с равными, по-товарищески, по-солдатски.

Резковато говорил Ковалев, но разговор заставил задуматься Жарикова. Вечером, лежа на соломе, покрытой плащ-палаткой, Николай вздыхал, долго ворочался. А утром, переломив гордыню, сказал Саяпину:

— Давай, Витя, будем умываться, я тебе полью, а потом ты мне. И будем дружить.

Услышав это, мы улыбнулись. А вскоре вся спесь у парня улетучилась. Как баритонист Жариков не устраивал Копылова. Вскоре он стал играть на второй трубе.

О себе Николай рассказывал очень немного. После средней школы поступил в авиационное училище, но закончить его не успел: курсантом попал под Сталинград. Участвовал в боях в качестве стрелка, служил у командира батальона ординарцем. Ни о семье, ни о любимом городе Николай не говорил и только тосковал об авиации.

...Случилось это в период трудных боев на Курской дуге. В районе деревни Мясоедово завязался неравный бой: на наш истребитель, сопровождавший бомбардировщиков, напали сразу два «мессершмитта». Наш летчик, должно быть, был опытный, боевой ас. Сделав разворот, он выпустил пулеметную очередь по «мессеру». Тот сразу задымил и пошел в крутое пике, из которого так и не вышел. Может быть, именно в этот момент, захлестнутый радостью победы, советский пилот увлекся. Откуда-то сверху коршуном упал второй «мессер». В воздухе стал слышен только один мотор. Советский летчик покинул горящий самолет и стал спускаться на парашюте. И тут фашист жестоко отомстил за сбитый самолет. Он стал заходить вокруг парашютиста. Мы кричали: «Давай, давай, спускайся быстрее!» Но парашют относило ветром, и спускался летчик точно в замедленном кино. Вражеский самолет прошел совсем близко от летчика. Купол парашюта вспыхнул.

— Собака! — сказал Николай и зарыдал. — Ведь безоружного убил...

Вот тогда, возбужденный воздушным боем, Жариков

рассказал мне, что с детства мечтал стать летчиком. Он занимался в авиамодельном кружке в Доме пионеров, потом поступил на курсы парашютистов при летном клубе.

Наконец его мечта осуществилась — военное летное училище. Но доучиться не пришлось. Шли бои, и фронт требовал солдат. Вместе с другими курсантами пришлось Николаю взять трехлинейную винтовку и воевать в пехоте.

...Сзади нас, во втором ряду, стоят вторые голоса — альты, теноры, валторны и басы. Самым опытным музыкантом-профессионалом, несомненно, был валторнист Миша Пильник. Он играл во многих духовых и симфонических оркестрах, прекрасно знал теорию музыки, мог похвастаться знакомством со многими знаменитостями. Перед войной вместе с Копыловым работал во Владивостоке в военно-морском оркестре, в «экипаже», как принято было его называть. Старше нас, рассудительный, серьезный, он пользовался большим авторитетом. К сожалению, ни о семье, ни о прошлом Михаила Вульфовича я так и не узнал — мы мало общались с ним запросто, по-товарищески,— слишком велика была разница в возрасте.

Теперь о другом валторнисте — Виле Гречишкине. О нем хочется рассказать побольше. Вещевой солдатский мешок, если он попадает в руки наблюдательного человека, может рассказать о многом. Например, Гурий Прыгунов перенес через водные переправы, сквозь огненное кольцо окружений любимые книги. У Коли Жарикова в мешке оказался офицерский ремень с портупеей и голубые петлицы авиатора, в которые оставалось ввинтить заветные «кубики». Виктор Саяпин, не державший про запас даже сахар, хранил в своем полотенце кусочек черного вонючего мыла.

Войдя однажды в землянку, я увидел, как Вил Гречишкин снял с головы танковый шлем, погладил его и, бережно свернув, заложил в мешок. Увидев меня, сказал:

— Увидел, ну и шут с тобой. Только не болтай.

— О чем?— сразу не поняв, спросил я.

— Да хотя бы о шлеме. Я же был в училище. И отец у меня капитан, танкист. Будет возможность, снова убегу из музвзвода к танкистам. Только молчи.

Вил так и не убежал из музвзвода. Мы дошли с ним до Берлина и на прощание, в сорок пятом, расцеловались.

Довольно высокий, совершенно белый, даже с белесыми ресницами, Вил, как и все альбиносы, при сильном гневе как-то розовел. Он вмешивался во все дела, смело, хотя и не всегда правильно, судил о многих вещах и вел дневник. Это была очень любопытная «летопись» нашей музыкантс-

кой команды. Каждый вечер Гречишкин раскрывал толстую общую тетрадь и мелким убористым почерком записывал, что сегодня на завтрак была гороховая каша, что находились мы в это время в таком-то населенном пункте, репетировали такой-то марш.

— Ты, никак, книгу про нас сочиняешь?— полюбопытствовал однажды Костя Ковалев.— Пиши, но только не все. Например, не включай в нее, как мы иногда халтурим.

— Это не книга. Это просто дневник. Записываю все: где, когда были, что делали.

— Знал я одного писателя,— не унимался Ковалев,— так он тоже наблюдал, слушал, записывал. А потом всю эту писанину отдавал куда следует.

Гречишкин стал малиновым.

— Это ты на что намекаешь, товарищ Ковалев?

— Разве я намекаю? Я просто рассказываю, как иногда бывает. Я же не имею в виду тебя. Что ты в пузырь лезешь? Только знай, Гречишкин, что народ у нас честный, советский. И не сердись на меня,— закончил Ковалев с улыбкой,— пиши на здоровье.

Вил вел дневник до самого конца войны. Забегая вперед, я расскажу об одном курьезном случае, который произошел с ним.

В молдавском городе Дубоссары немцы обстреляли нас из-за Днестра. Один из снарядов попал в забор, сложенный из бетонных плит. Вил находился в это время в саду, и кусок отбитой взрывом стены упал к его ногам. Гречишкин внимательно его осмотрел и торжественно, без малейшего намека на шутку, сказал:

— Смотрите, до чего дошел немец! У него кончается металл, и фашист стал делать железобетонные снаряды. Вот я поднял еще горячий осколок такого снаряда. Думаю, что надо срочно сообщить об этом командованию.

Мы стали рассматривать находку. В это время в соседнем саду разорвался снаряд. Довольно крупный осколок просвистел у нас над головами, врезался в стену хаты. Гурий ножом извлек его:

— Вил, не спеши сообщать командованию о своем открытии. У Круппа, к сожалению, еще и сталь есть. А твой осколок похож вот на эти.— И он поднял с земли горсть бетонных крошек, точно таких, что нашел Вил.

В этот вечер Гречишкин писал дольше обычного. Зачеркивал что-то, морщил лоб...

Одно время он был старшиной оркестра. Очень педантичный, излишне придирчивый к каждому пустяку, Гречиш-

кин не понравился нам. Например, причиталось каждому из нас сто граммов водки, курящим — табак, некурящим — сладкое. И тут, проявляя излишнее служебное усердие, Вил половину из нас лишил спиртного, мотивируя тем, что «молодым пить нельзя». На фронте нет ничего обиднее несправедливости. Мы пожаловались капельмейстеру на Вила. Он выслушал нас и сказал:

— Наверное, Гречишкин не сможет быть другим. Он очень пунктуальный человек, но в старшины не годится. Обязанности старшины будет выполнять Ковалев.

Вил никогда не позволял себе расстегнуть пуговицу на воротнике гимнастерки или не начистить до зеркального блеска сапоги. Он отдавал честь всем офицерам. Если встречный солдат не козырял ему, старшина Гречишкин распекал его. Когда ввели погоны, Вил вырезал из консервной банки цифры, обозначавшие номер нашей дивизии, и пришил их к погонам. Правда, эту глупость сразу же исправил Копылов. Он объяснил Гречишкину, что носить на погонах такие цифры равносильно раскрытию военной тайны.

Но несмотря на суховатость, чрезмерную строгость, некоторые странности, он был смелым человеком.

Весной сорок пятого он до последнего патрона отстреливался из пистолета от фольксштурмовцев, неожиданно захвативших его в домике лесника. Когда подоспела подмога, он безоружным бросился на немцев. Вил люто ненавидел их.

Уроженец Подмосковья, человек интересной и сложной судьбы, Костя Ковалев всю жизнь руководил музыкальными кружками, хоронил покойников, любил выпить, поухаживать за женщинами.

К тому времени он имел уже орден Красной Звезды, две медали «За отвагу», «За оборону Сталинграда».

Семья у Кости была большой. В письмах из дома, которые он иногда читал вслух, передавались приветы от дочерей: Маничек, Верочек, Любушек. По натуре своей Ковалев был человек бережливый, аккуратный. На язык — очень острый. Всегда первый начинал розыгрыш-подначку. И еще одно качество отличало Ковалева — огромная физическая сила. Я часто любовался, как постоянно, в любую погоду умываясь холодной водой по пояс, он играл хорошо развитыми мускулами. Костя великолепно дирижировал, мог оркестровать новые мелодии, а на басе-геликоне исполнял такие сложные виртуозные коленца, что мы просто заслушивались.

...Сашка Мамышев, прозванный Тугриком, заканчивал кадровую службу в Красной Армии где-то на границе с Монголией. И в это время началась война. Астраханский татарин, он хорошо знал восточные языки. Под Сталинградом его взяли переводчиком в особый отдел. Часто рассказывал Мамышев не о родной Астрахани, а о том, какие широкие степи в Монголии, сколько можно купить на тугрик папирос, конфет. Когда Виктор Саяпин спросил, что такое тугрик, Мамышев даже удивился:

— Неужели ты не знаешь, что такое? Тугрик — это и есть тугрик.

Такое объяснение и стоило ему клички.

Музыкантом он считался опытным, хотя и не отличался, как Ковалев, мастерством исполнения.

Однажды, после ликвидации Сталинградской группировки, Мамышев набрел в степи на немецкий фургон, в котором оказался сейф.

— Любопытство разобрало меня,— рассказывал он.— Что, думаю, может быть в этом железном сундуке? Кто-то до меня уже пробовал его открывать, но не смог. Я бросил в сейф гранату — не открылся. А любопытство все растет. И тут внезапно решил я, хоть и противно, пошарить по карманам у двух убитых немцев, что валялись недалеко от фургона. У одного в полевой сумке оказалась связка ключей.

Открываю сейф и глазам не верю — почти доверху забит советскими деньгами, прессованными, переклеенными крест накрест, будто только из банка. Посмотрел деньги на свет — все честь по чести, новенькие, хрустящие, не фальшивые. Взял себе в карман. Думаю, пригодятся после войны. Привел своего начальника к фургону. Тот взял пачку билетов, посмотрел, понюхал даже и говорит мне:

— Работа чистая, но если фальшивка, то в любом районном отделении Госбанка финансисты сразу ее разпознают.

Недавно встретил я капитана. Спросил он, как служится в музыкальном взводе, как здоровье, а потом говорит:

— А между прочим, деньги, которые ты нашел в фургоне, оказались настоящими, советскими, не фальшивыми. Молодец ты, парень.

А на фронте какая может быть заначка, надоело их прятать, отдал в конце концов начфину.

Ветеран войны, участник Сталинградской битвы, он панически боялся немецких самолетов. Во время бомбежки у него стекленели глаза, отвисала челюсть, мелко дрожали колени. Даже когда, отбомбив, самолеты улетали, он не

мог в течение нескольких минут разговаривать. Он объяснил это тем, что в Сталинграде попал под бомбежку, длившуюся непрерывно в течение почти суток, с тех пор не выносил завывания моторов вражеских самолетов.

Капельмейстер ценил в Мамышеве аккуратность, хорошее знание уставов, четкое несение караульной службы.

...Митя Косенко всегда воскресает в памяти таким, каким мы сидели с ним в Берлине, во дворе уцелевшего дома, в беседке, увитой плющом, и мечтали о том, как после войны будем дальше учиться, кем потом станем.

Вот он какой был, Дмитрий, любимый наш Митя. Представьте себе двадцатилетнего, хорошо развитого физически парня. Высокий, голубоглазый, ровные зубы, яркие, красиво очерченные губы, упрямый волевой подбородок. Смотрел он всегда прямо в глаза. Если огорчался, сокрушенно махал рукой, если смеялся, то громко, заразительно, порой до слез.

Митя не знал, что такое ложь. Он рассказывал, что отец, мать и старшая сестра никогда не обманывали друг друга и его воспитали таким же честным, искренним, прямым.

До войны он закончил во Владивостоке среднюю школу. Мне он однажды признался, что любимой девушки у него еще не было. В школе был бессменным комсоргом. С первого дня возглавил в нашем музвзводе комсомольскую организацию.

О Владивостоке Косенко на досуге рассказывал с восторгом. Выходило, что на земле нет другого более красивого города. Первым в стране Владивосток встречает утро. Почти каждый дом, каждый камень говорит здесь о героическом прошлом. А главное — какие люди, ну просто необыкновенные — моряки, да и все другие. Немцев ненавидел.

Как-то так сложилось, что нам с Митей всю войну доставалось чаще других стоять по ночам в карауле, выполнять не всегда почетную солдатскую работу — чистить картофель, колоть дрова, быть ездовыми. А когда музвзвод отставал от части или уходил с медсанбатом, опять же нам с Митей приходилось искать связь со штабом или политотделом — часто пешком или на попутном транспорте.

И еще он любил стихи и музыку. Был у нас в повозке «старенький коломенский разбитый патефон», который обычно заводил Митя. Он же где-то находил иногда пластинки и точил на бруске патефонные иголки. И мы слушали Шульженко, Утесова, Козина, Ружену Сикору...

Часто ребята обращались к Мите с просьбой во время

какого-нибудь конфликта рассудить, кто прав, кто виноват, советовались с ним по самым, порой, смешным вопросам.

Но, пожалуй, труднее всего мне рассказывать о нашем капельмейстере Копылове. За всю войну мы не называли его иначе, как «товарищ капельмейстер».

Я не знаю, где он учился, какие учебные заведения закончил, но писал очень грамотно, чуть угловатым четким почерком, был начитан. Если попадалась в освобожденном от немцев селе или городе книга, первым прочитывал ее и давал краткую характеристику:

— Хорошая книга. Читайте.

Или:

— Ерунда. Лучше не читать.

Никогда не допускал ни панибратства, ни поблажек.

Миша Пильник — его давний довоенный друг — обычно в освобожденных деревнях спал рядом с Копыловым. Часто ели из одного котелка. Но что касается повседневной службы, то тут Пильник был поставлен в равные со всеми условия — нес ночами караульную службу, получал от Копылова взбучки, если заслуживал их, и ни единой похвалы. Мне казалось, что с Пильника Копылов требует даже больше, чем с других. Однажды они сильно повздорили. Миша выскочил из комнаты, где они были вместе.

— Никогда не будет у меня двух дисциплин,— кричал ему вслед Копылов.— Для меня все одинаковы, кроме бездарей и фармазонщиков.— И войдя в нашу комнату, взволнованный только что происшедшим, прокричал:

— Запомните все: любимчиков в музвзводе не было и не будет. Пусть это солист Большого театра, пусть сам бог. Каждый исполняет свою партию, каждый солдат!

Второй эшелон на фронте — это тылы дивизии. За передовой линией, постоянно держа с ней тесную связь, располагается большое сложное хозяйство: штаб дивизии, политотдел, различные службы, такие, как артснабжение, медсанбат, полевая пекарня, прачечная, словом, все то, без чего нельзя воевать. Во втором эшелоне эти службы находятся на разном расстоянии от передовой линии: одни ближе, другие дальше. Копылов сам определил наше место во втором эшелоне во время наступления и обороны дивизии. Мы были постоянно прикреплены к медсанбату.

Разные происходили за войну случаи с ребятами нашего музвзвода, и за каждый дисциплинарный проступок Копылов наказывал со всей строгостью. Но никогда он не обидел никого несправедливостью. Любовь к командиру, уважение, даже готовность пожертвовать собой ради ко-

мандира — все это пришло к нам позднее, к концу войны, когда пришлось не раз встретить смертельную опасность.

Некоторые наши мелкие проступки Копылов старался как будто не замечать, хотя мы не забывали о них, а при удобном случае он как-то исподволь напоминал, что повторять их просто стыдно. Нетерпимо относился к выпивкам, а нас, молодых ребят, просто оберегал от них.

Таким был вначале состав нашего музыкального взвода. Потом к нам приходили новые музыканты. Некоторые из них по разным причинам уходили в войсковые подразделения, другие служили до дня Победы. И к нам, ветеранам, капельмейстер питал особое уважение как к проверенным в самых различных обстоятельствах. Копылов был человеком чутким, не лишенным некоторой сентиментальности, в меру строгим и любящим свое дело безгранично.

Теперь о себе. Закончил среднюю школу и в сорок втором был призван в армию. Все наше пехотное училище направили на фронт. Из родни у меня остались — мать, учительница начальной школы, да двоюродные сестры и братья. Отца я лишился в год своего рождения. Помню, жили, в основном, в небеленых неуютных комнатках при школах, как их именовали — в сторожках. Впрочем, в каждой из них мать умела создать уют, к которому я быстро привыкал, а мать часто отправляли в глухие места «налаживать» дело, сильно тосковал, как о чем-то привычном, родном, о той теплой «сторожке» с ее тюлевыми занавесками на окнах, с геранью на окошке.

Музыкантом я стал в небольшом городке, куда приехал из глухой таежной деревушки десятилетним пареньком. Было это в тридцать четвертом году.

Пожалуй, больше всего поразил мое ребячье воображение увиденный однажды на школьной перемене никогда не виданный и не слышанный духовой оркестр.

Был мартовский пасмурный слякотный день. Всю главную улицу заполнила большая толпа горожан, провожающих на кладбище покойника. Впереди этой толпы печально, до слез, до сладкой боли в сердце зазвучал оркестр. Я увидел музыкантов с медными и никелированными трубами — пожилого, усатого, средних лет краснолицего человека и двух совсем маленьких, чуть старше меня, с небольшими трубами. Обвитый басом-геликоном, шел, чуть прихрамывая, невысокий человек в кубанке. Трубы рыдали. Стоявшие по обочинам улицы горожане снимали шапки, некоторые крестились.

И в это время зазвенел звонок об окончании перемены.

Но, поддавшись каким-то чарам, забыв о школе, не думая, что делаю, устремился я к оркестру и, пристроившись около барабанщика, как был в одной рубашке, зашагал, загипнотизированный этой музыкой, которая лилась из медных труб.

Прошел я почти до самого кладбища, не чувствуя холода, забыв о школе и обо всем на свете. И только когда музыканты перестали играть, человек, опоясанный геликоном, спросил меня:

— А ты откуда, пацан?

Я не знал, что означает слово «пацан», и на всякий случай сказал:

— Меня не так звать.

Музыканты засмеялись, а тот, что был с басом-геликоном, совсем серьезно спросил:

— Нравится духовой оркестр?

Я не мог найти слов, чтобы выразить восторг, восхищение, очарование, и, только торопливо сглотнув слюну, кивнул головой.

— Тогда вот как сделаем,— подумав, предложил музыкант.— Если хочешь учиться, приходи с отцом или мамашей в клуб вечером и спроси Аркадия Попова.

Мать категорически воспротивилась моему желанию посещать занятия в духовом оркестре. Было выплакано много слез, целый месяц умолял я ее записать в музыканты. В конце концов соврал Аркаше Попову, что получил разрешение матери. И стал вечерами тайком заниматься в духовом кружке. Спустя месяц мать узнала об этом. И, странное дело, отнеслась теперь к моему увлечению духовой музыкой равнодушно. Почти восемь лет до войны играл я в оркестре. И вот теперь стал военным музыкантом.

... Во время переформирования дивизии под Харьковом мы занимались почти весь день.

Раскрыты ноты, капельмейстер поднял руки.

— Трубы, повторяем с четвертого такта.— И трубачи повторяют в седьмой раз трудное место музыкальной пьесы. Мне кажется, что исполняют они это место предельно четко, стройно, со всеми нюансами. Но капельмейстер улавливает какую-то невыразительность, какую-то фальшь ловит его чуткое ухо. Он терпеливо и спокойно объясняет, как нужно акцентировать начало и конец фразы и напевает это место. И снова:

— Еще раз с четвертого такта.

Все это время мы сидим молча. Капельмейстер не до-

пускает разговоров. И вот, наконец, он говорит трубачам:

— Вам все понятно? Будьте добры к следующему занятию разучить.

Затем исполняем пьесу всем оркестром. Копылов большое внимание уделяет громкости звучания. А это иногда зависит не только от нас, но и от акустики помещения. Не так часто приходилось нам на фронте играть и тем более репетировать в клубах, в больших залах. Чаще всего играли в комнатах уцелевших домов, в сараях, а то и на улице. Инструменты почти у всех были медные. Капельмейстер требовал, чтобы они постоянно были начищены.

— Ведь не бывает так, чтобы у солдата, идущего в бой, отказала от ржавчины, грязи винтовка,— говорил он. —Инструмент — наше оружие, мы всегда с ним в бою.

Живя в дачном поселке, мы встречали пополнение. Обученные в запасных стрелковых полках солдаты, выгрузившись из железнодорожных эшелонов, шли к местам формирования. Их встречали командиры, работники политотдела. И каково же было удивление многих из них, когда в прифронтовой полосе, где был слышен гром орудий, навстречу колонне выходил сверкающий медью военный оркестр. Гремел походный марш. Роты сразу же выравнивались и чеканили шаг у гвардейского знамени.

Музыка, музыка! На войне я узнал ее силу, красоту, способность делать с человеком настоящие чудеса.

После одного кровопролитного боя мы хоронили прославленного командира батальона. Могилу ему выкопали на опушке леса у околицы небольшого украинского хуторка.

Неправда, что на войне люди привыкают к смерти. Чем ближе победа, тем тягостнее смерть боевых друзей. На этот раз хоронить командира батальона пришли представители рот и взвод автоматчиков. Политрук сказал о том, каким хорошим человеком был комбат, как храбро он воевал. Потом говорил старший лейтенант — самый близкий друг покойного комбата. Он поклялся отомстить за смерть боевого товарища. Молча слушали эти речи и солдаты, и пришедшие на похороны жители хуторка. И вот зазвучала скорбная мелодия похоронного марша Шопена.

С первых аккордов стало будто совсем иначе. Заплакали, зарыдали трубы, глухо зарокотал барабан. И все увидели, что настали самые последние минуты прощания с этим прекрасным, еще молодым человеком, который больше не увидит ни вон той березки, ни озерца с осокой. Он не дожил до весны, до победы, до встречи с родными, любимыми. Обо всем этом напомнили рыдающие трубы. У

меня по спине пополз холодок. Я видел, как смахнул с ресниц слезу один из автоматчиков, как заголосили незнакомые женщины. А марш высоко вздымался минорными аккордами и затихал почти в шепоте, в шелесте. Строгий седоголовый подполковник из политотдела дивизии, бросив горсть земли в могилу, судорожно зарыдал, точно простился с родным сыном.

В каком-то районном центре, отбитом у немцев в смелой атаке, состоялось вручение боевых наград. Музыка, музыка. Мы стояли у крыльца большого здания с обгоревшей крышей. Заместитель командира дивизии вызывал по списку представленных к наградам. Для подобной церемонии полагалось исполнять туш. Но Копылов изменил традиции. Больше того, он нарушил заведенный порядок. Вместо туша мы стали исполнять «Славься» Глинки — эту чисто русскую, звучную мелодию, которую оркестр играет в особо торжественных случаях — при объезде командующим частей парада, например. И вдруг «Славься» грянул, когда была названа фамилия младшего лейтенанта, подорвавшего гранатами три танка. К столу, покрытому кумачом, он шагал, полный достоинства, гордый, сразу как-то повзрослевший. Сияющий, чеканил шаг от стола, неся коробочку с орденом Отечественной войны.

Младший лейтенант командовал батареей противотанковых сорокапятимиллиметровых орудий. На участок, где в мелколесье стояли на прямой наводке пушки, фашисты бросили много танков. Шли они на большой скорости, с ходу стреляя по батарее. Прямым попаданием была уничтожена крайняя справа «сорокапятка». Потом выведен из строя весь второй расчет. Младший лейтенант подбежал к пушке и стал наводить ее на ближайший танк. Но у орудия осколком повредило замок. И тогда в какие-то доли секунды младший лейтенант успел спрыгнуть в небольшой окопчик, отрытый рядом с орудием. Над головой прогремел гусеницами танк. В окопчике оказалось несколько противотанковых гранат. Младший лейтенант швырнул одну из них в танк, проезжавший окопчик, и подбил его. Потом стал бросать гранаты под гусеницы других проходивших танков. Оставшись целым и невредимым, без единой царапины, он подбил три танка. Через несколько минут в бой вступили наши самоходчики и окончательно отбили атаку немцев.

Я помню митинг в другом районном центре. Проходил он на площади у разрушенного немцами кинотеатра. На сколоченную саперами трибуну поднялся генерал. Он под-

нял руку, и в это время зазвучал широко и торжественно «Интернационал». Площадь замерла. Люди, которые почти три года томились в фашистской неволе, которые давно забыли родную музыку, услышали знакомый и родной для каждого из них гимн. По стойке «Смирно» стоял на трибуне генерал, замерли боевые командиры у трибуны и строй солдат со знаменем. А «Интернационал» гремел по широкому плацу, утверждал свободу, счастье.

В боях за освобождение Украины мы постоянно были в самой близости к переднему краю. В наше распоряжение выделили повозку и буланого коня, которого мы окрестили Мальчиком. Потребовался человек, который умел бы ухаживать за лошадью, запрягать и распрягать ее. По-военному он назывался ездовым. Копылов попросил в штабе выделить ездового, но получил отказ. Я помню, как все вместе мы запрягали Мальчика, как смеялись над своим неумением: то оказывалась криво поставленной дуга, то сползала набок шлея, то не могли надеть хомут. Ездовым временно стал Косенко. Он более умело управлялся с конем.

По дорогам Украины шли пешком. На повозке лежал инструмент, вещевые мешки, ноты, небольшой чемоданчик капельмейстера, в котором он хранил нотную бумагу, тушь, кое-что из личных вещей, патефон, чемодан пластинок, кухонный скарб. Двигались по обочине, уступая путь автомашинам, мотоциклам, танкам. Ночлег выбрали в селе, последнем на нашем дневном марше. Размещались постоянно все вместе, выставляя на ночь часовых.

Довольно часто мне приходилось слышать пренебрежительно брошенную фразу кому-нибудь из новичков: «Он еще близко вооруженного немца не видел».

Не считая боя за Харьков, я тоже не видел близко вооруженного немца.

Первая встреча с фашистами у нас произошла при довольно нелепых обстоятельствах.

Копылов раз и навсегда завел порядок — любой, даже самый незначительный переход, согласовав в штабе, проверять по карте, на которой обозначены все населенные пункты, речушки, лески, болотца. Так было и на этот раз.

БЛУЖДАЮЩИЕ ТАНКИ

Мы переправились через Днепр по понтонному мосту и сразу же попали под сильную бомбежку. На переправу пикировали, как мне казалось, не меньше пятидесяти фашистских самолетов. Зенитные батареи, густо расставленные в прибрежном кустарнике, вели по ним плотный огонь. Мы перескочили песчаную, сильно разбитую колесами, всю в воронках дорогу, и рассыпались. Бомбы рвались по берегу Днепра, и в воде царила жуткая паника: машины и повозки, давя друг друга, валились в воду с понтона.

После того как самолеты отбомбились, разрушив переправу, мы двинулись, но не по главной, а по соседней проселочной дороге, которая была менее наезжена, и вскоре на повороте увидели немецкий указатель с названием села, направление на которое обозначалось стрелкой. Я не помню название села — не то Грушовка, не то Вишневка — словом, что-то связанное с фруктами.

— Десять километров,— произнес задумчиво Копылов.— Мы за пару часов их пройдем и сделаем привал.

Хуторок стоял в живописной местности, утопая в вишневых садах, с соломенными крышами, с высокими журавлями колодцев, с темными ивовыми плетнями. Высокие осокори у околицы стерегли от зноя спокойную степенную речушку. Война прошла рядом, большим шляхом, минуя хуторок, и все здесь было таким же, как до войны, а может быть, даже во времена, воспетые еще Гоголем. Только в самом центре, на высокой опрятной хате, уцелела доска с немецкой надписью «Комендатура».

Оказалось, что в хутор мы вступили первыми, и у первой же хаты высокий седобородый дядько, увидев нас, удивленно воскликнул:

— От то наши хлопцы! Червона Армия наша!

Вскоре к нам сбежался весь хутор. Копылов приветствовал жителей от имени Красной Армии, поздравлял с освобождением от фашистской неволи. Посыпались десятки вопросов: скоро ли кончится война, что нового на родной советской земле, как идет наступление советских войск, как здоровье товарищей Сталина, Ворошилова, Буденного. Всех удивляли наши погоны.

Разместились мы, вопреки обычаю, не в одной, а в двух хатах. Жители сразу же сообща организовали праздничный ужин. На стол выставили сало, вареники, сметану и самогон. В нашей хате за старшего Копылов оставил Мишу Пильника. Когда хозяин — одноглазый человек неопреде-

ленного возраста — наполнил стакан до краев, мы вопросительно посмотрели на Мишу.

— По такому случаю можно выпить,— сказал он.— Но только по одной.

Посидев часа два за столом, улеглись спать.

Под утро я проснулся от непонятного тревожного шума. Гудела земля, звенели стекла в рамах. Я подскочил к окну и в туманном лимонном рассвете увидел, как по улице на восток шли три немецких танка. На броне сидели одетые в пестрые маскировочные халаты автоматчики. Мгновение, и мы были на ногах. Едва третий танк миновал хату, как на улице ухнуло. Стреляли танки. Автоматчики, соскочив с брони, перебегали вдоль плетней. На улице разорвалось несколько снарядов. Мы забежали во двор. Улица была пуста. В конце хутора горел подбитый танк, два других, отстреливаясь на ходу, шли теперь на запад, минуя село. По ним из-за осокорей ожесточенно била батарея наших противотанковых орудий, неизвестно когда там появившаяся. Вскоре был подбит второй танк, а третий, уходя все дальше, временами отстреливался. И тут к нам прибежал усатый сержант.

— А ну, славяне, быстро собирайтесь добивать автоматчиков!— приказал он.

Мы молча подчинились. Короткими перебежками двинулись мы вшестером, во главе с сержантом, к горящему танку, возле которого, видать, залегли немцы. Когда миновали ложбинку, сержант совсем не по-военному сказал:

— Теперь трое направо, трое — налево. Я пойду прямо. И вроде окружать будем. Как кто увидит фрица — стреляй прицельно Главное — не бояться. У фашистов сейчас полные штаны, небось.

Борис Гофман, Митя Косенко и я поползли влево. Николай Жариков, Миша Пильник и Саша Мамышев — вправо. Перед нами невдалеке чадно догорал танк. Фашистские автоматчики, как вскоре выяснилось, залегли на дальнем бугорке, заняв круговую оборону. Косенко выпустил в ту сторону длинную очередь из автомата. Сержант, который полз посредине наших групп обхвата, погрозил Мише кулаком.

— Эй, ты,— крикнул он.— Себя демаскируешь. Рано стреляешь. Ведь автоматом не достанешь.

Мы двигались, немцы молчали.

— Эй, фриц, сдавайся! Хенде хох!— крикнул сержант.

Немцы сразу же ответили автоматными очередями, заставив нас пригнуться к земле. Завязалась перестрелка.

— Не бойся,— крикнул сержант,— сейчас их наши ребята накроют.

И вот радость: буквально сразу же после этих слов возле бугорка разорвался снаряд.

Я ожидал, что после следующего разрыва немцы поднимут руки и сдадутся. Но они быстро сменили позицию и, перебегая, успели дать по нас несколько очередей из автоматов. Немцев было около десятка, причем двоих раненых они поочередно тащили на себе. Мы открыли, как мне казалось, прицельный огонь. Но странное дело, ни одного попадания. Между тем немцы удалялись из зоны обстрела.

— Вперед, ребята!— крикнул сержант, поднимаясь во весь рост.— Нельзя их отпускать!

Мы побежали за сержантом. Неизвестно, сколько бы длился этот бой, если бы не танк, неожиданно появившийся позади нас. Увидев «тридцатьчетверку», немцы сразу сложили оружие. Мы подошли к ним. Были они разные — молодые и пожилые, с медалями и какими-то значками на кителях. Я запомнил их глаза на белых от страха, потных лицах — глаза злого зверя, попавшего в капкан. Казалось, они спрашивали в последнем отчаянии: почему русские не стреляют? Неужели пощадят, возьмут в плен? Ведь сложись обстановка в их пользу, вряд ли бы пощадили.

Между тем сержант обратился к лейтенанту-танкисту:

— Может, того?— и подмигнул.— Чего с ними возиться?

— Ты что, сержант?— посуровел командир танка.

— Все ясно, товарищ лейтенант,— козырнул сержант.

Мы донесли до батареи немецкое оружие и расстались.

В музвзводе мы горячо обсуждали этот боевой эпизод. Получилось так, что, разделившись на ночлег по двум хатам, мы по-разному встретили немецкие танки. К нам шестерым прибежал сержант, а те, кто ночевал с Копыловым, на улицу выскочили только тогда, когда мы под командой этого сержанта ушли в бой.

Больше всех сокрушался Костя Ковалев:

— Могли бы сказать нам. Мы тут труса праздновали, выходит, а они, видишь, герои, в боевой операции участвовали! Не по-товарищески, не по-солдатски это.

Были, разумеется, кроме поздравлений обычные розыгрыши. Особенно острили те, кто не участвовал в нашей вылазке. Досталось Мите Косенко, когда он рассказал, что первым открыл по немцам стрельбу с большого расстояния. Этим он вроде хотел их испугать, заставить сдаться. Тем

более что сержант сказал, что немцы до смерти испуганы и взять их будет легко.

— А ты знаешь, на сколько достает автоматная пуля?— спросил Ковалев.

— Наверное, в пределе видимости,— ответил Косенко.

— Выходит, если ты видишь немецкий «мессер», то его можно сбить из автомата?

— То «мессер», а то автоматчики,— превращал Митя в шутку разговор.

— Дело, товарищи, оказывается, серьезнее,— сказал капельмейстер.— Сегодняшний случай показал, что некоторые из нас не знают даже убойной силы оружия, да и не умеют им в совершенстве владеть. Боевая и музыкальная подготовки будут равными дисциплинами. Мы увлеклись музыкой, забыв, что прежде всего каждый из нас — солдат. В любую минуту мы должны быть готовы сменить духовые инструменты на автоматы и пулеметы.

Таким было наше боевое крещение. Оно заставило каждого из нас быть бдительнее, готовым в любое время вступить в бой.

После памятного утра мы целую неделю не могли найти свою часть.

На восьмой день Копылов приказал мне и Косенко как можно быстрее разыскать нашу дивизию и сразу же возвращаться в хутор, где нас будут ждать ровно три дня.

В вещевой мешок уложен сухой паек. Проверены автоматы. Прощаемся с ребятами и выходим из хутора. Идти договорились вместе, не разлучаясь, а главное — хорошо запомнить дорогу назад, где нас ждут.

Вышли на шоссе, по которому почти непрерывно в двух направлениях шли машины, повозки, мотоциклы, а иногда и танки. Мы решили двигаться на запад любым видом транспорта, исключая, конечно, гужевой. Однако остановить проходящую машину оказалось делом нелегким. Мы голосовали добрый час и, когда совсем отчаялись, около нас неожиданно остановился танк «Т-34».

— Садись, пехота, подвезу,— сказал механик-водитель.

Мы взобрались на броню, уцепившись за скобы, которые были устроены специально для танкового десанта, и двинулись на запад. Езда на «тридцатьчетверке» нам понравилась. Не трясло на неровностях, танк, идя на большой скорости, только покачивался, обгоняя обозы и колонны автомашин. Мы зорко всматривались в путевые указатели, чтобы найти след нашей дивизии, и часа через два остановились на развилке. Из машины вышли трое танкистов — молодые ребята

в комбинезонах. Они стали разминаться, бороться и боксировать. Командир танка спросил, куда мы направляемся. Он почему-то решил, что мы из госпиталя. Мы не стали разочаровывать танкиста рассказом о том, что музыканты и ищем свою дивизию. Мы назвали фамилию комдива. Никто из танкистов ее не знал. Попрощавшись, двинулись по левому своротку к видневшемуся примерно в километре селению. Ища место для ночлега, мы узнали, что в селе расположились связисты из нашего корпуса. Об этом рассказал солдат, которому мы дали закурить.

— Слушай, браток,— обратился к нему Митя,— мы потеряли свою дивизию. Не поможешь разыскать?

Солдат насторожился и сразу замкнулся.

— А как у вас с документами?— спросил он.

Мы показали красноармейские книжки и начистоту выложили все, что случилось с нашим музвзводом.

— Музыканты, говорите,— улыбнулся солдат.— Дело у вас и вправду сложное. Лучше всего обмозговать его с нашим командиром взвода. Да спит он сейчас, а будить его не велено без неотложного дела.

Мы согласились подождать, пока командир проснется, но солдат с минуту подумал и сказал:

— Это дело непростое. Зря время теряете, лучше идите к начальнику связи.

Седоголовый тучный полковник встретил нас не очень дружелюбно, выслушал и осмотрел с головы до ног.

— Если думаете, что я из справочного бюро, то глубоко ошибаетесь. Здесь подобных справок не дают,— сказал он.

— Товарищ полковник,— сказал Митя, стоя по стойке «Смирно»,— мы готовы понести любое дисциплинарное взыскание от командования нашей гвардейской дивизии. И наверняка мы понесем его. Но представьте себе, как беспокоятся о нас в штабе дивизии, в политотделе. Не может же просто так пропасть без вести целый взвод музыкантов.

Полковник на этот раз более внимательно посмотрел на нас.

— Говоришь ты, солдат, хорошо, умеешь убеждать. Но вдруг оба вы не те, за кого себя выдаете.— Он потеплел и лукаво посмотрел на нас. У меня сразу же отлегло от души.— Так и быть, помогу,— сказал после небольшого раздумья полковник.

Он тут же распорядился покормить нас. После того как мы поели, старший лейтенант, которому нас поручил полковник, толково и обстоятельно объяснил, как найти часть. И как быстрее вернуться в оставленный нами хутор.

Ночью связисты погрузили на машины имущество и уехали из деревни.

— Ты хоть запомнил название деревни, которую назвал нам старший лейтенант?— спросил меня Митя. Я даже похолодел от этого вопроса: название выскочило у меня из головы.

— А ты?

— А я записал ее,— сказал Митя.— Новая Прага.

Чуть свет мы снова голосовали на шоссе. На этот раз нас сразу же взял водитель порожнего «студебеккера».

И снова несется серая лента фронтовой дороги — с воронками от снарядов и бомб, с трупами по обочинам, с обгорелыми танками и остовами автомашин, с невысокими холмиками солдатских могил. Совсем недавно здесь гремел кровопролитный бой, а сейчас это место уже называлось тылом, и на нем люди начинали новую мирную жизнь. Мы встречали их у обгорелых хат, у разбитых немецких автомашин. Люди рыли землянки. Начиная свою нелегкую жизнь, верили, что фашисты больше не вернутся на эту землю.

Новая Прага раскинулась, как и большинство украинских селений, на склонах балки. Мы поблагодарили водителя и пошли искать своих. Вскоре я встретил знакомого пулеметчика Алешу Горгуленко, который с крупнокалиберным пулеметом охранял штаб дивизии. Он рассказал, что командование дивизии находится в Новой Праге.

Мы устроились в хате стариков-супругов. Вечером, поужинав, стали укладываться спать. Старики расспрашивали нас о боевых делах Красной Армии, справлялись о Москве, о Сталине. Мы рассказывали о том, как наши войска на всех фронтах громят оккупантов, гонят их с родной земли.

Вскоре послышался надсадный, с завыванием, гул немецких самолетов. Загрохотали зенитки, в ночное небо потянулись трассы пулеметных очередей. Грохнули первые, сброшенные фашистами, бомбы. Я спросил у хозяина, есть ли во дворе щель. Тот ответил, что стоявшие раньше в хате немцы во время бомбежки бегали к огороду. Ночной налет был массированным. Бомбовые разрывы теперь гремели почти непрерывно. Мы потащили стариков на улицу, в отрытую немцами щель, но те наотрез отказались — не все ли равно, где погибать.

Щель нашли без труда и едва спрыгнули в нее, как прямо над головой загудел немецкий бомбардировщик. Взрыв, другой, третий. Они приближались, казалось, прямо на нас. Сверху полетели комья земли, сильно запахло

взрывчаткой. Последний взрыв был настолько сильным, что я оглох и на какое-то мгновение мне показалось, что убит. Тут меня ударило земляным комом в плечо. Потом все стихло, и только в разных концах Новой Праги разгорались пожары. Прямым попаданием разрушило хату. Постояв несколько минут над печальными руинами, направились к центру, где солдаты и местные жители тушили пожары, вытаскивали из-под обломков раненых. Мы стали помогать им. А под утро с попутной машиной поехали к своим.

А вскоре нам пришлось надолго спрятать инструменты в чехлы и идти в медсанбат.

ТОВАРИЩ САНИТАР

Саша Долгов встретил меня как старого знакомого.

— Настраивайся на путешествие,— сказал он.— Тут недалеко, на хуторе, остались раненые. Их нужно срочно доставить сюда. Вот тебе помощница.— Саша пригласил невысокую плотную медсестру с припухлыми глазами.— Добирайтесь до того хутора своим ходом и ждите машину. Если ее не будет завтра утром, организуйте эвакуацию людей сами.

В первой же хате, куда мы вошли, на меня напустилась пожилая женщина. Она стала выговаривать, что бессердечно бросать на произвол судьбы раненых, и повела в хату, где они лежали. Их было восемь человек. Увидев нас, ребята обрадовались.

— Думали, пропадать придется, браток,— сказал заросший медной щетиной старшина.— Или жениться.

Я сразу же взял на себя инициативу: собрал женщин и велел им помыть раненых, а медсестре — каждого перевязать.

И вот закипела в чугунах вода, появились тазы и деревянные шайки. Мои помощники проявили большое старание. Нашелся брадобрей, который подмолодил солдат. Теперь оставалось ждать машину. После бани и перевязок солдаты повеселели. Почти все они были ранены в ноги.

Я распорядился, чтобы каждый, кто увидит машину, направил ее к нашему «лазарету».

Утром хозяйки принесли завтрак. Однако машины не было. Я оставил медсестру с ранеными и пошел голосовать на шоссе, которое проходило примерно в километре

от хутора. Шоферы не останавливались на мои отчаянные сигналы. Наконец один из них затормозил.

— Куда тебе?— спросил он.

Я взобрался на ступеньку кабины, вцепился на всякий случай в баранку и стал рассказывать о раненых, которых нужно срочно доставить в санбат, иначе они погибнут от заражения крови. Я умолял, заклинал и даже угрожал.

— Ты понимаешь, солдат, что я выполняю приказ командира — доставить продукты на передовую? Отвезти раненых — это три, а то и четыре часа. А там бой, солдат кормить надо.

— Но ведь погибнут красноармейцы, и мы, которые могли их спасти, будем потом всю жизнь себя проклинать. Я от тебя не отстану,— отчаянно заявил я,— хоть стреляй в меня.

Шофер ответил, что пусть его отдадут под трибунал, а приказ командира он не нарушит.

— И ты лучше уйди, парень, не тревожь мне нервы, не агитируй. Я человек сознательный и без твоей агитации понимаю, что такое раненый боец.

Он включил скорость, и машина тронулась.

— Не пущу! Поеду с тобой до самого склада и расскажу, какой ты человек, кто ты такой!

И странное дело — мой последний отчаянный аргумент неожиданно подействовал на водителя.

Провожали нас все жители хутора. Женщины вынесли на дорогу пироги, моченые яблоки и хрустящие соленые огурцы. Многих солдат называли по имени, звали после войны в гости.

А водитель всю дорогу жаловался медсестре, что задержался в пути на целых четыре часа и что ждет его наказание.

Зимним вечером вошли в большое село. Ковалев назначил часовых, мы без ужина повалились спать. Мне пришлось дежурить с двух ночи до четырех часов утра.

Без единого огонька спало большое село. В холодном чистом небе перемигивались яркие звезды, и зловеще грохотал передний край, обозначенный огненным росчерком трассирующих пуль, призрачным мерцанием ракет и вспышками взрывов. Село находилось в стороне от главного шляха. Вечером, проходя улицей, я заметил в нем несколько крытых автомашин.

Две хаты, в которых мы расположились на ночлег, находились у самой околицы. Дальше простиралась заснеженная

степь. Во время дежурства я имел привычку на ходу считать шаги. Сонная тишина села убаюкивала меня.

Посмотрев на часы, я подпрыгнул несколько раз, стараясь отогнать одолевавшую меня дремоту. В это время на дороге в сторону передовой появились тусклые огоньки. Военные шоферы обычно закрывали фары сверху козырьками, свет пробивался сквозь специально прорезанные узкие щели. Вот машина рядом со мной. Я шагнул навстречу. Шофер затормозил.

— В чем дело?— спросил он.

— Далеко направляетесь?— придав голосу строгость, спросил я.

Кто-то с заднего сидения спросил:

— Вася, кто там? В чем дело?

— Часовой, товарищ полковник,— ответил шофер.

Полковник, который, очевидно, полулежал на сиденье, выпрямился, и я увидел высокую серую папаху.

— Молодец, часовой. Хорошо несешь службу. Проверяй каждого, кто движется от передовой.

Подошли еще две или три штабных машины. Из них вышли офицеры, стали закуривать.

— А что за хозяйство в селе?— спросил полковник.

Я назвал командира нашей дивизии и сказал, что квартирует здесь одна из тыловых служб.

— Опасно так близко подтягивать тылы,— сказал кому-то полковник.

Я хотел ответить, что это всего-навсего музвзвод, но полковник подал знак, и машины тронулись.

«Что за близость, и о чем говорил полковник?»— стал я раздумывать, поглядывая в сторону переднего края.

Тишина была недолгой. Через несколько минут в село въехала «полуторка».

— Часовой,— обратился ко мне шофер,— где тут дорога на Звенигород?

— Не знаю, я не регулировщик. А дорога тут всего-навсего одна, валяй по ней, думаю, не собьешься.

Кряхтя и чертыхаясь, уже немолодой шофер вылез из кабины автомашины.

— Слушай, почему здесь так тихо? Немец окружает, а вы как в глубоком тылу. Ты что, один собираешься оборону держать?

— Какое тебе окружение? Посмотри, где передовая,— ответил я, удивляясь тому, что о близости передовой теперь говорит и этот смертельно усталый и оттого, наверное, злой, как черт, шофер.

— А ты не туда смотришь, повернись вон туда,— указал шофер.

Я обошел хату и посмотрел в сторону, где, по моему твердому убеждению, должен быть глубокий тыл. На востоке стояло в полнеба зарево. Слышались гулкие пулеметные очереди и даже, как мне показалось, треск автоматов. Зарево двигалось, огибая огненным кольцом наше село.

Через минуту поднятый по тревоге музвзвод был на ногах. Шофер все еще копался в моторе своей «полуторки». Копылов спросил у него о положении на переднем крае.

— Окружает нас фашист, вот тебе и положение. Уже километров с десяток осталось, не больше, и кольцо замкнется. Я ехал ремонтировать свою «антилопу гну»,— неожиданной шуткой закончил шофер,— куда теперь ехать — ума не приложу. Вот опять мотор отказал.

Через село прошли несколько тяжелых «студебеккеров», потянулся обоз. Двигались они к югу. И по тому, как усердно хлестали ездовые лошадей, как, не объезжая воронок, рывками, нервно вели машины шоферы, чувствовалась нервозность.

— Убери свою колымагу,— кричали они водителю «полуторки».— Встал на самой дороге!

Когда рассвело, на околице появились два бронеавтомобиля и несколько автомашин из заградотряда. Офицеры и солдаты направлялись на запад к передовой. С рассветом стала стихать перестрелка на переднем крае. Мы так и не вышли из села, хотя Митя давно запряг Мальчика, и все были готовы выступить в любую минуту.

Ближе к обеду над селом на бреющем полете пронеслась пятерка «хейнкелей». Один из них сбросил бомбу, которая не причинила никакого вреда, другой обстрелял скопившиеся в центре села автомашины. Там кого-то ранило. Мы проводили воздушных пиратов недобрыми словами. Но вскоре самолеты снова появились над селом. По ним началась беспорядочная стрельба. По ней можно судить, что, кроме нас, здесь находилось довольно много военных. Сбросив несколько бомб, фашисты повернули на запад.

Связь с командованием дивизии мы установили через инструктора политотдела, приехавшего в село на мотоцикле. Он советовал Копылову пока оставаться на месте. Обстановка на переднем крае за последние часы улучшилась, и два полка нашей дивизии перешли в контрнаступление. Немцы отступают, бросая много техники. Если наступление будет развиваться и дальше, нам можно будет завтра дви-

8—2391

нуться в соседнее село, куда прибудет медсанбат. А пока лучше переждать здесь.

Ночью началась бомбежка. В хате вылетели стекла. Взрывная волна вздыбила нашу соломенную постель. Я больно стукнулся головой о печку. Новый взрыв, и в ослепительной вспышке я увидел Гурия Прыгунова, закрывшего руками лицо. Когда наступила тишина, он негромко сказал:

— Ребята, меня ранило.

Маленький осколок попал в скулу. Рана кровоточила. Николай Жариков достал бинт. Осколок сообща вытащили, рану промыли водкой и забинтовали. К утру лицо у Гурия распухло, требовалась врачебная помощь. Мы его отправили в медсанбат.

Началась знаменитая Корсунь-Шевченковская операция. Мы снова работали санитарами. Снова бессонные ночи, поездки за ранеными в полки и батальоны и в полевой госпиталь. Многие из нас к тому времени научились оказывать раненым медицинскую помощь, накладывать жгуты, делать уколы.

В то время никто из нас, разумеется, не знал о масштабах этой грандиозной операции. Мы видели огромное количество пехоты, артиллерии, танков. Сутками не умолкала канонада. Временами казалось, что орудийный гул слился в сплошной грозный звук. К тому же нельзя определить, куда и откуда стреляли: грохотало впереди, справа и слева. Было много раненых. Разве могли мы предположить, что все это время шло окружение и уничтожение фашистских дивизий?

ВСТРЕЧА С ОДНОПОЛЧАНАМИ

...Летом 1971 года мне довелось побывать на местах, где в войну в неимоверную распутицу шли кровопролитные бои. Я побывал в городе Корсунь-Шевченковский в музее истории этой битвы. Молодой человек экскурсовод рассказывал нам о том, как были окружены и взяты в плен 18 тысяч немецких солдат и офицеров. Мы посмотрели в специальном зале документальную ленту, на которой фронтовые кинооператоры запечатлели отдельные эпизоды этого сражения. И в одном из залов музея я увидел фотографии комдива Шостацкого, начальника штаба Баранова, начальника политотдела Полякова, снимки солдат и офицеров нашей родной Звенигородско-Берлинской дивизии... Все это было очень давно, все это теперь овеяно романтикой

фронтовых лет. Я увидел на одном из снимков совсем молоденьких солдат и подумал, что я был именно таким же в ту пору. И вот нахлынуло, захватило, понесло туда, в прошлое. Сразу запершило, будто застреляло что-то в горле, какой-то комок. И я не смог сдержать слез...

Когда я вышел из музея, ослепительно сверкало августовское солнце, зеленели, наливались тучным урожаем сады. Веселая компания молодых парней и девчат что-то напевала. Какую-то современную мелодию разносил транзистор в руках у одного из парней. Но вот ребята умолкли. Они остановились возле танков, орудий и «катюш»— немых свидетелей тех огненных лет. Молодые люди молча постояли у этой грозной техники, словно дань прошлому отдали, и пошли дальше.

Я подумал о том, что не зря погибали мои сверстники в сорок четвертом. И если понадобится, эти парни и девчата повторят бессмертный подвиг своих дедов и отцов...

БУНА ДЗИВА

В конце февраля, когда операция по окружению и разгрому фашистов была закончена, мы направились на юг. По дороге двигались нескончаемые колонны пленных.

Прошла зима. Дела на фронте радовали. Все дальше на запад шли наши дивизии. Но до победного дня еще было далеко.

Мартовским теплым днем мы вошли в первое молдавское село. Здесь буйствовала весна. Мы увидели абрикосовые сады, все в нежно-розовом наряде. Для многих из нас — сибиряков, дальневосточников, жителей среднерусской полосы — это зрелище было удивительным: еще ни травинки на земле, еще кое-где в тени домов с северной стороны грязные остатки снега, а на голых деревьях — цветы.

Как мы обрадовались весне, как ждали победы, как широко распахнулись наши солдатские сердца! Мы стали еще добрее и уважительнее друг к другу.

Теперь, когда дивизия стояла в обороне, вышел приказ ежедневно давать концерты для солдат. Полки стояли за Днестром, на плацдарме. Передовая линия проходила местами совсем близко от берега.

Один такой концерт мы дали в опушенном первой дымкой зелени прибрежном лесу. Уселись на пеньках, на брев-

нах, заготовленных, наверное, для блиндажей. Перед нами сидели и стояли солдаты и офицеры, пришедшие с переднего края. Настроение у всех было приподнятое.

— Штраус. Вальс «У голубого Дуная»,— объявил капельмейстер. Мы раскрыли ноты. Стало будто тише в сыроватом весеннем лесу, казалось, даже птицы приготовились слушать прекрасного, вечно молодого Штрауса. И вальс зазвучал.

Нежно и вкрадчиво, точно голубые воды далекого волшебного Дуная, потекли звуки труб. Ласково, задумчиво пропели валторны. Я глянул на зрителей. Одетые в темные от окопной грязи шинели, в мятых, линялых пилотках, одни совсем юные, с легким пушком на щеках, другие пожилые — они по-разному слушали эту признанную всем миром мелодию.

Вальс ширился. Ему было уже тесно среди серых корявых стволов дубняка и темных ольховых ветвей. Он рвался в лазурь, все нарастал, захватывал своими чарами. Мне показалось, что солдаты уже видели себя совсем другими. Одни вспоминали ту первую золотую весну, другие — студенческий веселый карнавал, третьи — снега русских равнин, в которых стояли под снеговой ризой столетние сосны. И вдруг почудилось, будто эту прекрасную мелодию запели и деревья, и таившиеся до этого в первой клейкой листве птицы.

Позднее знакомый капитан рассказал, что Штрауса, оказывается, слышал даже на передовой. Правда, сначала там не поняли, откуда льется музыка. Притихли даже на какое-то время и немцы.

Затем мы играли марш «Герои Сталинграда», «Марш танкистов» и ставшее в годы войны знаменитым «Прощание славянки». Нам никогда не аплодировали, не вызывали на «бис». Наша аудитория выражала свой восторг молчаливым благодарным взглядом, изредка — хорошей улыбкой, означавшей: «Молодцы, музыканты!» Духовая музыка не относилась на войне к искусству, не равнялась с выступлениями фронтовых агитбригад или дивизионного клуба. Мы играли до начала выступления артистов или после их концерта, точно в цирковом представлении, когда под звуки оркестра блещут мастерством жонглеры, акробаты или эквилибристы, а музыкантов, исполняющих «галопы» и «трот-марши», никто из публики не видит, никогда не аплодирует их мастерству. Мы были строевым подразделением, делали свое обычное, нужное и важное в то время дело.

Вспоминая это теперь далекое, незабываемое время, я думаю о том, как заботились в Москве о военных оркестрах! Мы получали красиво оформленные, на отличной бумаге сборники, где были напечатаны музыкальные пьесы на все случаи фронтовой жизни — от встречного марша до небольших отрывков из опер и оперетт. Сборники были составлены со знанием дела, с учетом фронтовых условий.

В Дубоссарах жили мы в двух уютных домах. Из-за близости переднего края жители вынуждены были временно оставить городок, уйти в тыл. Занимались, как всегда, с утра, а после обеда шли в полки. Был конец апреля. А первомайский праздник встречали в штабе дивизии, затем переправились через Днепр, играли на плацдарме. Концерт наш затянулся до вечера. Домой возвращались затемно.

Уселись в старую лодку с низкими бортами и оттолкнулись от берега. Ковалев сел на корме за руль. Борис Гофман и Николай Жариков — за весла. Течение быстро подхватило утлую, сильно осевшую от тяжести груза лодку, она неуклюже раза два повернулась на месте, но Ковалев выправил ее ход рулевым веслом. Примерно на середине реки кто-то сказал:

— Ребята, а лодка-то течет!

Это фраза была произнесена с оттенком юмора, очевидно, в расчете на то, чтобы не посеять панику. Воды действительно набралось уже по щиколотку, и она угрожающе прибывала.

Сообщение это мы встретили молча. Потом тишину нарушил Мамышев:

— А как же я с басом поплыву?

Сказал он это тоном человека, который оказался в горящей комнате и теперь не без юмора спрашивал, как ему прыгать в окно с пятого этажа.

— Молчи, убогий,— сказал Гурий Прыгунов.— Во-первых, никто не собирается покидать нашу лодку, а во-вторых...

Что было во-вторых, мы так и не узнали несмотря на то, что уже дружно вычерпывали воду: лодка хватила бортом первую, довольно солидную порцию воды. Стало не по себе.

Между тем нас занесло на стремнину. Лодка, наполненная водой, стала неповоротливой, еще раз черпнула воды, и все же какой-то непонятной силой мы сумели направить ее к берегу.

— Спокойно, товарищи, без паники!— сказал чужим тусклым голосом Копылов.— Главное — сидеть спокойно, не вертеться.

До берега оставалось метров пять-шесть. В это время кто-то сделал резкое движение, и мы оказались по грудь в воде. До берега, однако, добрались благополучно. Самое удивительное было в том, что никто не утопил инструмента. И только Виктор Саяпин, которого вода скрыла с головой, лишился пилотки.

Мы жарко натопили печь. Копылов приказал Ковалеву выдать каждому по сто граммов водки. Так закончился первомайский праздник.

На другой день, делая запись в дневнике, Вил спросил у Прыгунова:

— Что ты думаешь насчет лодки?

— Дырявая пирога,— ответил Гурий.

— А не кажется тебе, что это дело чьих-то рук? Не наших — вражеских?

Гурий сделал очень серьезное лицо и ответил:

— Как всегда, ты прав, Вил. Ну конечно же, это вражеский происк! Очевидно, фашисты пронюхали, что взвод музыкантов будет переправляться в этой посудине, и послали своего лазутчика с долотом... Так и пиши в дневнике.

Вил осоловело посмотрел на Гурия — правду ли тот говорит, или разыгрывает его, и застрочил в общую тетрадь свои предположения.

Однажды утром в сад, где мы репетировали, вошли двое смуглых крепких мужчин, удивительно похожих друг на друга. Одеты они были в гражданские поношенные костюмы, обуты в постолы — куски конской кожи, подвязанные веревочками наподобие лаптей. Старший поклонился сначала Копылову, затем всем нам.

— Можно послушать?— попросил он.

В ответ Копылов пожал плечами: слушайте, мол, на здоровье. Мы продолжали репетировать. Гости стояли в стороне и слушали так, как это делают люди, искушенные во всех тонкостях искусства. Когда капельмейстер объявил перекур, они подошли к нам.

— Музыканты, что ли?— спросил Копылов.

— Музыканты!— в один голос ответили пришельцы.— Мы местные, братья Жулавские — Иван и Андрей.

Через несколько минут состоялась «проба» братьев Жулавских. Андрей оказался трубачом, Иван — тенористом. Играли они настолько великолепно, что даже далекий от эмоций Миша Пильник сказал:

— Просто не верится, что в таком местечке и такие мастера могут отыскаться.

Через несколько дней братья Жулавские были призваны

в действующую армию и сразу же прочно вошли в нашу дружную семью. А еще через неделю они привели «на пробу» четырех солдат-молдаван — Семена Дынула, Селиверста Мушеманского, Ивана Храновского и Иосифа Штефирца — местную знаменитость. Всех их вскоре тоже зачислили в музвзвод. Спустя полмесяца приняли еще одного новичка — кларнетиста Александра Красникова.

Молдавские музыканты оказались людьми веселыми, дружелюбными. Все они играли на духовых инструментах по многу лет.

Иван Жулавский до войны был учителем музыки. Лет сорока с лишним, очень вежливый, всегда с доброй шуткой в запасе, он быстро сдружился с каждым из нас. Его младший брат Андрей был несколько темпераментнее, азартнее. Он обладал высокой, почти виртуозной техникой исполнения и задушевным, мягким звуком. Андрей Жулавский стал у нас трубачом-солистом, а Иван — первым тенористом.

Иосиф Штефирц был человеком грузным, неповоротливым, в возрасте, который ближе к старости. По-русски говорил с сильным акцентом. Походка у него была совсем не армейская, гимнастерка постоянно топорщилась на спине. Но когда он брал баритон и начинал играть, преображался настолько, что казался совершенно другим человеком. В каждом деле бывает мастер и бывает вершина этого мастерства. Штефирц относился к тем немногим людям, которые достигли этой вершины в духовой музыке. С его приходом оркестр зазвучал как-то иначе, словно в самодеятельный хор включился известнейший певец. Штефирц долгие годы руководил музыкальными кружками в детских домах, работал в цирке, несколько лет играл в армейском оркестре.

Селиверст Мушеманский пришел в музвзвод со своим стареньким альтом. Это был тихий, задумчивый человек. Ходил он, осторожно склонив голову набок, иногда даже разговаривал сам с собой вслух. Костя Ковалев решил, что Селиверст — блаженненький, и относился к нему как к человеку с недостатком. Но мы любили Селиверста.

Как-то укладывались спать. Вдруг в углу замяукала кошка, и вслед за этим несколько раз тявкнула собака.

— Еще не хватало, чтобы по моим ногам собаки гонялись за кошками,— возмутился Вил.— Сейчас я их пугану из пистолета...

Как бы в ответ откуда-то от печки заржал конь, и вслед за этим замычала корова. Засветили трофейную стеариновую плошку. Конечно, ни кошек, ни лошадей в комнате не было. Оказалось, что звуки издавал второй альтист Иван

Храновский. Все рассмеялись. Иван был прирожденным шутником. Умел подражать голосам не только животных, птиц, жужжанию насекомых, но и выделывал такие потешные вещи, как игра на тополином листе или исполнение совершенно уникального номера на зубах, постукивая по ним ногтями. При этом щеками ухитрялся менять звук так, что получалась мелодия. Храновский научил нас говорить по утрам и вечерам «буна сара», «буна дзива», мы знали несколько обиходных фраз, при помощи которых общались с молдаванами, что вызывало у них добродушные улыбки.

Семен Дынул, был, очевидно, цыганом, хотя упорно это отрицал. Оказалось, что он совершенно не знает нот. Копылов решил немедленно отправить его в стрелковый полк. Тогда Дынул сказал капельмейстеру:

— Я, товарищ начальник, могу делать все, что твоя душа пожелает,— инструменты паять, и сбрую чинить, и даже лечить могу.

Копылов кинул на нас озорной взгляд:

— Видали фармазонщика? Он же доктор! Может, его послать главным хирургом в медсанбат?

Но Дынул и глазом не моргнул:

— У меня, товарищ начальник, кила, меня в армию не возьмут. А если ты попросишь, могут мобилизовать. Я такой повар, каких нет ни в Григорополе, ни в Кошнице, а уж в Бельцах и подавно.

Семен Дынул остался в музвзводе поваром, вторым ездовым (у нас уже было две повозки), музыкальным мастером, фуражиром и всем на свете вплоть до парикмахера. Правда, он постоянно менял где-то ездовых лошадей, но всегда удачно. В остальном это был послушный, работящий солдат.

О Саше Красникове мы узнали, что он учился в Одесском музыкальном училище, с первого дня войны был на передовой. Бежал из плена, немного партизанил. Как и Дынул, Красников не подлежал демобилизации. У него был поврежден глаз, но он очень просил Копылова зачислить его в оркестр, и капельмейстер через командование сделал это.

Весну сменило лето. Поспела черешня в садах, обмелел Днестр. Каждый день мы переправлялись на плацдарм и всю вторую половину дня находились в полках.

И вот однажды ранним июльским утром я вышел на берег Днестра. Над рекой стоял белесый туман, скрывающий противоположный берег. Еще только просыпались птицы, восток алел и золотился, предвещая ясный хороший день.

Я зачерпнул пригоршню студеной обжигающей воды и плеснул ее на лицо. В это время зашуршала листва прибрежного кустарника.

— С добрым утром,— сказал, выходя оттуда, офицер в плащ-накидке.— Холодная, небось, водица?

Голенища сапог у него были в росе до самого верха, лицо серое, утомленное, глаза с красными веками. Вопрос, заданный военным, требовал ответа, с которого обычно начинается знакомство.

— Прохладная вода, хорошо освежает,— ответил я.

— Может, закурим?— предложил офицер, вытаскивая из кармана пачку папирос «Красная звезда» — самых популярных на фронте.— Из госпиталя иду. Вот никак не отыщу свою часть. Третий день скитаюсь по тылам.

— А какая дивизия?— спросил я?

— Ишь какой!— натянуто улыбнулся собеседник.— Ты сам-то из какой?

— А ты тоже... наивный. Свою не называешь, а мою хочешь узнать,— превратил я свой ответ в шутку.

Военный скинул плащ-накидку, и я увидел полевые, видавшие виды погоны старшего лейтенанта. На гимнастерке красовались орден Красной Звезды и две медали.

— Между прочим, товарищ старший лейтенант, в Дубоссарах расположен комендантский взвод. Я провожу вас туда. Мне как раз по дороге. Там получите нужные справки.

— Бдительность — сестра победы. Но я фронтовик и без твоей помощи найду дорогу, куда мне надо. Так что будь здоров, до встречи после победы.

В сказанном старшим лейтенантом я уловил что-то фальшивое. Смутное подозрение и тревога вкрались вдруг мне в душу. Офицер был, несомненно, фронтовик. Но какое-то чувство подсказывало: тут что-то не так. Почему в это время утра был он в кустах и вышел ко мне, безоружному, чтобы узнать, какая здесь стоит в обороне часть? Ведь чего проще обратиться к первому офицеру и расспросить все по правилам. И потом, зачем этот разговор о бдительности?

Мне нечего было больше сказать старшему лейтенанту, а тот торопливее, чем надо, поправил кобуру пистолета, перекинул через плечо плащ-накидку и не спеша зашагал от реки к Дубоссарам. Я еще раз ополоснул лицо и, повернувшись к реке, докрасна растерся полотенцем. Неожиданно за спиной раздался знакомый голос:

— Молчи, иначе пристрелю, как собаку!

Я машинально повернулся и увидел, как старший лейтенант целится в меня из пистолета. Я подумал, что это

глупая шутка, и хотел ответить на нее тоже шуткой, но, увидев его лицо, понял, что дело куда серьезнее.

Прыгать в воду нельзя — Днестр в этом месте мелкий. Метнуться в кусты — до них метра четыре.

— Ты руки подними!— приказал он.— Так какая здесь стоит дивизия? Отвечай, или укокошу.

Сказано это было так решительно, что я ни на секунду не усомнился: этот человек обязательно выполнит свою угрозу. И тут неожиданно мелькнула отчаянная мысль и с ней ощущение, как перед первым прыжком в воду...

— Товарищ старший лейтенант, ну зачем такие шутки? Сорок девятая дивизия здесь стоит. Командир — генерал-майор Копылов, начальник штаба Ковалев, начальник отдела — полковник Косенко.

Я выпалил все это самозабвенно, в злом юморе, присваивая своим товарищам генеральские и полковничьи звания.

— Так бы сразу и сказал. Я как раз в эту дивизию и направлен.— Старший лейтенант спрятал пистолет в кобуру.— Я, пожалуй, тоже искупнусь, а потом — в комендатуру. Ты не жди меня. Иди. И не сердись. Понимаешь, пошутил я. А если откровенно, то усомнился в тебе: почему в это время здесь один? Не на передовой...

Туман над рекой разнесло ветерком. Взошло пока еще нежаркое солнце. И я вдруг отчетливо понял, что живым меня с пустынного берега этот человек не отпустит. Вот только почему он тянет время? Может, ждет, когда пойду в гору, на подъем, и тогда выстрелит в спину? Человек, носивший погоны старшего лейтенанта, очевидно, тоже над чем-то раздумывал. И в это время на реке послышался спасительный скрип уключин, плеск весел. Простуженный бас сказал, обращаясь к нам:

— Эй, земляки! Примите чалку!

Большая лодка с солдатами причалила к берегу. Я схватил конец веревки, которую бросили мне. Обернувшись, увидел, как мнимый старший лейтенант, пригибаясь в кустарнике, торопливо уходил от реки.

— Ребята! Это — шпион. Он меня чуть не застрелил,— выкрикнул я выходившему из лодки старшине.

Солдаты в лодке дружно засмеялись.

— Ты не с похмелья, парень?— спросил старшина.

— Честное комсомольское, товарищи, это шпион! Он допытывался у меня, какая здесь дивизия, он чуть меня не застрелил, да, видать, испугался, что выстрел могут услышать.

Говорил я взволнованно, торопливо и так искренне, что старшина перестал улыбаться.

— Набоков, Федорако, Захарченко! А ну, быстро задержать этого!— крикнул он в ту сторону, где скрылся «старший лейтенант».— Будьте осторожны. И не стрелять. Берите живым.

Трое солдат, маскируясь в зарослях, проворно зашагали за странным гостем. Но едва они поднялись на берег, как раздался пистолетный выстрел. Кто-то крикнул «Стой!» Вслед за этим прозвучало еще несколько пистолетных выстрелов, потом раздалась автоматная очередь.

В своей дивизии я подробно рассказал о нашей встрече на берегу Днестра с загадочным «офицером».

— А в общем-то, ты действовал правильно,— сказал мне капитан из СМЕРШа,— только жалко, солдаты сплоховали — убили «старшего лейтенанта». Тот гад успел одного ранить.

Вскоре мы перебрались на плацдарм, в землянки. Через несколько дней началось сражение, которое позднее получило название — окружение Ясско-Кишиневской группировки.

Наступление наших полков было стремительным. Мы шли через дымящиеся вражеские траншеи, где в самых неестественных позах лежали убитые фашисты, попадались разбитые орудия, шестиствольные минометы, автомашины, обгорелые танки. В одном из селений нагнали медсанбат. Раненых, по сравнению с прежними наступлениями, было немного. Их теперь сразу же эвакуировали в тыловые госпитали.

В небольшом селе Принчепете Карол, что означает по-молдавски «сорви цветок», прозвучали последние залпы наших орудий: Ясско-Кишиневская операция была завершена. После Корсунь-Шевченковской я не видел такого количества военнопленных. В Принчепете Кароле они расположились на большом дворе, обнесенном ивовым плетнем. Немцы сидели и лежали на земле. Некоторые из них раздевались до трусов и уничтожали в одежде паразитов. Как только мимо проходили наши солдаты и офицеры, фрицы кричали:

— Сталин гут, Гитлер капут! Камрад, дай макорка.

Их угощали крепчайшей махоркой или трофейными сигаретами. Немцы благодарили, улыбались, некоторые даже раскланивались.

— На Сибирь?— спрашивали одни.

— Война капут!— радостно сообщали другие.

Но были и третьи — молчаливые, в холодном, насто-

роженном взгляде которых я часто читал лютую ненависть. Дай оружие, и вон тот недобитый чубатый ефрейтор обязательно будет драться до последнего патрона. Но теперь он был безоружным в общесолдатской массе, которая в большинстве своем была против войны. Как правило, они держались особняком, небольшими группами. И на них мало кто обращал внимание.

В то же время меня удивляло слепое, бездумное подчинение немецких солдат офицерам даже здесь, в плену. При виде их солдаты умолкали, вытягивались и, казалось, переставали соображать.

Военнопленных большими партиями конвоировали на восток. В эти дни я выполнял обязанности ординарца у начальника тыла дивизии. Были они несложны и сводились, в основном, к тому, что я носил иногда майору обед да ходил в штаб с бумагами.

Однажды утром после завтрака майор ушел в штаб, но вскоре вернулся и приказал мне с оружием идти в распоряжение лейтенанта Попова.

У «доджа» стояли шофер и автоматчик. Я поздоровался с ними и спросил, где могу видеть лейтенанта Попова.

— Сейчас выведут немецкого генерала с его адъютантом,— сказал шофер,— вот тут и увидишь Попова.

Из хаты, где размещался один из отделов штаба, в сопровождении молодого лейтенанта вышел немецкий генерал-майор и его адъютант — пожилой офицер в очках, со впалыми щеками.

— Это тебя послали в наш конвой?— строго спросил лейтенант.

Услышав мой четкий рапорт, он, как мне показалось, подобрел.

— Я слышал, что ты из музвзвода. Надеюсь, стрелять из автомата умеешь?

— Как бывший курсант пехотного училища, товарищ лейтенант,— сказал я с обидой.— Могу и из пулемета...

Знойным днем по пыльной дороге, обгоняя колонны военнопленных, мы двинулись в Кишинев.

Я сидел рядом с лейтенантом напротив генерала и наблюдал за выражением его лица. Это был средних лет невысокий довольно полный блондин со светлыми старческими глазами. Генерал часто отирал носовым платком пот с шеи и сопел. На трупы, разбитые немецкие машины, танки, колонны пленных он смотрел, по-моему, безучастно. И только в одном месте, у небольшого мостика, обратился к адъютанту. Тот, осмотрев местность, быстро заговорил о чем-то.

— Тут их в плен наши ребята взяли,— сказал молчавший до сих пор солдат.

— А ты что, по-немецки понимаешь?— спросил шофер.

— Понимаю,— ответил солдат,— раз переводчик, значит, кое-что кумекаю.

— А ну, спроси генерала, что он думает насчет второго фронта?— сказал шофер.— Как насчет конца войны соображает?

— По инструкции, в дороге с военнопленными мне разговаривать не положено,— ответил солдат.

— А ты нарушь ее, инструкцию, я буду в ответе,— не унимался водитель.— Уж больно интересно знать мнение фашистского генерала. Как, товарищ лейтенант?— обратился он к лейтенанту.— Не возражаете?

Солдат вопросительно посмотрел на Попова.

— Спрашивай,— ответил тот.

И солдат-переводчик заговорил. Сначала немного робко, подбирая слова, точно ученик на уроке, потом увереннее, как и подобает разговаривать победителю с побежденным. Генерал выслушал солдата и, пожав плечами, коротко ответил что-то.

— Он говорит, что не имеет желания беседовать на эту тему,— перевел солдат.

— Не желает с русским солдатом объясняться?— обиженно сказал шофер.— А если я ему по морде? Как, товарищ лейтенант? Я ведь не посмотрю, что генерал...

— Отставить разговоры,— оборвал водителя лейтенант.

— Не хочет говорить, не надо. Невелика птица. Когда надо, его заставят говорить. Будь уверен!

— Может, перевести это генералу?— спросил солдат, не скрывая лукавой улыбки.

— А что, и в самом деле — переведи, чтобы не надувался, как индюк,— по-мальчишески озорно сказал лейтенант.

Переводчик помолчал, очевидно, составляя в уме наиболее остроумный и, уж конечно, ядовитый ответ, и заговорил спокойно, с достоинством. Генерал, выслушав солдата, побагровел и заговорил отрывисто, будто подавая команды. Адъютант сразу подтянулся, испуганно посмотрел на нас и на говорившего генерала.

— Генерал говорит, что очень устал, расстроен и взволнован. Он спрашивает, что ждет его в плену? Ему теперь безразлична судьба фюрера, который оказался плохим стратегом, тактиком и политиком. О союзниках он ничего сказать не может.

До самого Кишинева мы больше не разговаривали с генералом.

...Когда, наконец, музвзвод собрался вместе, мы стали ежедневно провожать роты и батальоны на отдых. Играли в расположении землянок, в садах, на площадях городов и в селах. Полки готовились для последнего наступления на фашистскую Германию.

Составы один за другим шли лесами мимо хуторов, болот на север. Из теплушек раздавались звуки трофейных аккордеонов и веселые солдатские песни. Все знали, что скоро предстоит последняя решающая схватка, теперь уже на немецкой земле. И все оживленно обсуждали это, строили планы на будущее, когда наступит мир. В эшелоне мы получили дивизионную газету «Сталинская гвардия», которую поочередно читали до последней строки.

На третий день пути нас предупредили, что скрывающиеся в лесах изменники Родины — украинские националисты — обстреляли шедший впереди эшелон. Имелись человеческие жертвы. В любой момент мы должны быть готовы к бою. Особо напомнили о бдительности. В связи с этим мне припомнился один случай. Произошел он с артистом дивизионного клуба Николаем Фоминым. Жили артисты довольно свободно, некоторые из них позволяли себе ходить без погон или в трофейных офицерских бриджах и сапогах. Фомин как раз был одет в немецкие шаровары, сапоги и кубанку с малиновым верхом. Погон на его гимнастерке не было.

На небольшой станции в Полесье он отправился на базарчик и задержался. В это время эшелон отошел. К артисту тут же подошли пограничники.

— Ваши документы!— потребовал лейтенант, с головы до ног осматривая странно одетого человека.

Фомин полез в карман гимнастерки, но красноармейской книжки там не оказалось.

— Вот ведь как бывает,— смущенно сказал он,— в другой гимнастерке у меня документы, а ее только что увезли.

— А куда ее увезли?— спросил лейтенант.

— Ну, конечно, в сторону Берлина,— шуткой ответил артист.

Дальнейший разговор происходил в комендатуре. Фомин продолжал отшучиваться. Но когда его стали допрашивать и записывать ответы в протокол, он понял, что шутить неуместно.

— Кто ты такой?— спросил дежурный офицер.

— Артист дивизионного клуба,— ответил Фомин,— отстал от эшелона.

Офицер не на шутку рассердился:

— Это вы, «артисты», недавно эшелон обстреляли?— спросил он.

— Братцы, поверьте, я действительно артист. Ну, как вам это доказать? Давайте сделаем так: прошу выйти со мной на станцию к любому эшелону. Меня каждый солдат и офицер нашей дивизии знает. А уж если никто не признает, тогда ведите следствие по всем правилам.

Пограничники так и сделали. Но в первом вагоне, к которому подвели Фомина, его никто не узнал. То же самое было у второго и третьего вагонов.

— Чего голову морочишь, шкура бандеровская!— сказал лейтенант.— Пошли!

И в это время проходивший мимо старший лейтенант спросил:

— Эй, Фомин, ты чего под охраной?

Николай бросился к нему и даже всплакнул от радости. Конфликт был разрешен. Лейтенант, сопровождавший Фомина, обратился к его спасителю:

— Прикажите своему артисту, если он не вольнонаемный, носить положенное по форме обмундирование и соблюдать устав,— он козырнул и ушел.

Но Фомин вскоре забыл это наставление. Мне рассказывали, что в Восточной Пруссии с ним произошел еще один случай, который только чудом не закончился трагически.

В только что занятом поместье Николай нашел парадный генеральский мундир и надел его. Мундир пришелся впору, фуражка с высокой тульей — как раз по голове.

— Ну, вылитый фашистский генерал,— пошутил кто-то из друзей.

Николай был доволен находкой: теперь для выступления на сцене у него было подходящее по росту, да к тому же генеральское обмундирование. Не снимая фашистской формы, он вышел на улицу.

В это время наши солдаты наткнулись в сарае на целое отделение вооруженных фашистов, очевидно, отставших от своей части. Завязалась перестрелка. Фомин вышел из дома как раз в тот момент, когда несколько бойцов пробежали мимо. Увидев «немецкого генерала», они остановились.

— Стой! Хальт! Руки вверх!— крикнул один.

Фомин подумал, что это шутка, и вместо того, чтобы выполнить команду, комично схватился за пустую кобуру.

— Гитлер капут!— гнусавым голосом, картавя, крикнул он.— Капут, капут!— продолжал паясничать Фомин.— Гитлер капут!

Солдат не выдержал и пустил чуть выше головы «фашистского генерала» автоматную очередь.

На выстрелы из соседнего дома выскочили несколько солдат.

— Ребята, глядите, генерал!— крикнул кто-то.

Фомин упал и, поспешно срывая с себя мундир, что было сил закричал:

— Я не генерал, я артист, черти полосатые! Не стреляйте!

Однако даже этот случай с переодеванием не послужил ему уроком. В Берлине я видел его в монашеской сутане.

Ненастным вечером мы выгрузились в Ковеле и сразу же через город двинулись в лес. Накрапывал холодный дождь. В темноте было слышно чавканье ног да поскрипывание колес многочисленных повозок. Кругом лежала непроницаемая тревожная тьма. Перед рассветом движение колонны остановилось. Мы немного вздремнули. Неожиданно сумрак разрезала ракета, раздались гулкие винтовочные выстрелы и треск автоматов. Через несколько минут стрельба утихла. Как вскоре выяснилось, на авангард колонны наткнулся летучий отряд фашистских кавалеристов. Схватка с ними была короткой: большинство всадников уничтожили, за остальными началась погоня.

Мы остановились в селе с высокими шестами у домов, на которых были установлены скворечники, а во дворах — колодезные журавли. К самой околице подступал густой лес. Нас предупредили, что возможно нападение бандитов из местных националистов. Мы несли круглосуточную патрульную службу. К вечеру на шляхе у въезда опускался шлагбаум. Каждый въезжавший и входивший в село предъявлял документы.

И все же как-то ночью крайнюю хату, где размещались работники политотдела дивизии, кто-то поджег. От опушки из темноты прозвучало несколько винтовочных выстрелов.

Сразу же по тревоге на поимку бандитов выступила рота автоматчиков. После небольшой перестрелки они поймали бандеровцев. Двое из них были молодые парни, третий — пожилой, высокий, кадыкастый, в немецком солдатском кителе. Их отправили в комендатуру.

ПОЛЬСКИЕ ВСТРЕЧИ

И вот полки снова в наступлении. Перед нами теперь лежала польская земля с ее обездоленными селами, со сломанными крестами костелов. Скорбные матки боски из дерева и гипса встречали нас у развилок дорог, у колодцев, на околицах сел. Появились солдаты в конфедератках из Войска Польского. И то, что когда-то мы учили по географии в школе, теперь видели воочию: богатство одних и беспросветную нищету других.

К этому времени оркестр у нас звучал уже так, как положено военному оркестру. За годы его существования мы добились отличных успехов. В репертуаре были сотни пьес. Кроме военных маршей, песен, небольших произведений, написанных для оркестров, мы исполняли отрывки из оперетт и опер. Занимались ежедневно по несколько часов в день. Копылов по-прежнему строго и, как мне казалось, даже излишне придирчиво требовал от каждого в отдельности самого безукоризненного, идеально четкого исполнения оркестровых партий, заставлял выучивать многие из них на память.

В одном польском городке Николай Жариков добыл метроном — небольшой прибор, отсчитывающий такты. Теперь стали репетировать с его помощью. И порой было похоже, что оркестр стал как хорошо отрегулированный и выверенный механизм, где просто немыслима даже малейшая неточность, фальшь. Мы знали, что скоро придет тот заветный день, когда просто не смогут обойтись без нашей музыки. Она будет звучать под грохот салютов, под наши марши пойдут по Берлину победители. Разве можно было играть средне, посредственно в такой день? Конечно, оркестр должен звучать только отлично!

В польских городах и селах мы играли мазурки и полонезы, польские народные песни и танцы. Поляки с одинаковым удовольствием слушали Шопена и Огинского, Бетховена и Глинку. Всюду мы встречали самый радушный, сердечный прием.

Во второй половине января 1944 года вошли в Варшаву. По мостовым холодный ветер гнал пепел. Разрушенные, истерзанные дома. Нигде не видно белого — все почернело, закоптилось от пожаров, взрывов. Мы вошли в серый, разрушенный почти до основания город.

За всю войну я видел много истерзанных и сожженных городов, но польская столица поразила своими страшными руинами. Вначале было даже непривычно видеть в Варшаве

живых, смеющихся, счастливых горожан, приветствовавших своих спасителей и освободителей.

На площади, окруженной руинами, мы заиграли что-то суровое и торжественное. Кажется, это был Шостакович. Сначала нашими слушателями были несколько советских и польских солдат. Постепенно из темных землянок стали выходить варшавяне. Многие пришли с детьми. И через несколько минут вокруг стояли десятки взрослых и детей. Лица их были сначала непроницаемы. Когда прозвучал последний аккорд, кто-то попросил сыграть «Катюшу». Зазвучала эта простенькая и очень близкая почти каждому в те годы песенка. После нескольких тактов мелодию «Катюши» подхватили наши солдаты. К ним присоединились поляки. Вскоре образовался импровизированный хор. И было совсем неважно, что не получались слова, которых, конечно, поляки не знали. Наша родная русская «Катюша» все равно звучала в необычном исполнении очень громко, весело, радостно. Это было всеобщее выражение переполнявшего каждого высшего счастья. Лица поляков расцвели улыбками. Кто-то пел в обнимку с нашими солдатами. В образовавшейся толпе молодая женщина дирижировала хором. Когда закончили играть «Катюшу», посыпались новые заказы. На улицах, вливающихся в площадь, сигналили шоферы, которые не могли проехать через толпу.

— Товарищи музыканты,— пробрался к капельмейстеру ехавший на грузовике капитан,— ради бога, дайте возможность проехать.

Копылов кивнул на толпу. Капитан понял смысл копыловского жеста и неожиданно улыбнулся.

— Придется ехать в объезд. Тут и танкам не прорваться. Настоящий праздник.

Несколько дней мы прожили в Варшаве и завели много друзей. Провожали нас они с самыми добрыми пожеланиями, горячо приглашали после войны в гости. Покидали Варшаву с чувством гордости за ее замечательных людей, вынесших неимоверные страдания и не сломленных, гордых, готовых всегда драться с лютым врагом — фашистами — насмерть.

Познакомились мы с тремя участниками варшавского восстания, жестоко подавленного немцами. Это были рабочие парни. Они рассказали, что даже во сне не расставались с трофейным оружием. Парни торопились попасть в Войско Польское, чтобы отомстить ненавистным оккупантам за родную Варшаву, за страдания своего народа.

Наш путь пролегал через хутора, местечки и города.

Здесь, за границей, для нас жизнь как бы уготовила наглядный урок истории: богатые панские поместья и крытые темной от времени соломой хаты бедняков, великолепные замки шляхтичей и бедняцкие рабочие окраины.

Мне запомнился хутор Кички. Не столько из-за показавшегося тогда почему-то чудным названия, сколько из-за довольно жуткой стычки, как потом выяснилось, с хозяевами одного из поместий. Целые дни играли в полках. Как-то состоялся вечер в штабе дивизии. На нем присутствовали гости из Войска Польского. Когда командир дивизии поднял тост за скорую победу, за доблестных воинов, за Родину и партию, мы сыграли Гимн Советского Союза. Ответный тост офицера Войска Польского — и зазвучал польский гимн. Потом начались танцы. Мы играли популярные танго, вальсы, фокстроты, блюзы. Бальные танцы танцевали всего две-три пары. Под конец капитан-грузин сплясал огненную лезгинку, что вызвало восторг собравшихся.

Домой, в Кички, шли по еле заметной среди чистых снегов тропинке, делясь впечатлениями о вечере-встрече. Храновский потешал нас, подражая голосам животных и птиц.

Я задержался у калитки и вошел в дом последним.

— Вот ты и будешь сегодня первым нести караул,— сказал Ковалев.— Бери автомат и шагай на пост.

Я положил инструмент, проверил автомат и заступил на дежурство. Наш довольно большой старый дом окружали деревянные сараи, за которыми начиналось поле. Зимняя ночь была тихой, теплой. Не хотелось думать о том, что совсем рядом, на передовой, где было пока тихо, каждую минуту мог вспыхнуть жестокий кровопролитный бой, что впереди таких схваток еще много.

Я прислонился к углу сарая. И вдруг в глубине его зашуршала солома. Я насторожился. Шорох повторился. Лошадь не могла так шуршать. Хозяин — дома. Значит, в сарае чужой. Вот он приглушенно кашлянул: подошел к двери. Я замер, еще не зная, как поступить: ждать его появления или поднять музвзвод по тревоге? Скрипнула дверь, и из сарая осторожно, не прикрывая за собой двери, вышел мужчина. Я стоял в тени навеса, и он меня не видел.

Человек был одет в короткую, выше колен, куртку и сапоги. Осмотревшись, что-то негромко сказал по-немецки. Из сарая ответил хрипловатый голос, и вскоре оттуда вышло еще трое. Один из них был в шинели.

У меня от волнения замерзли концы пальцев, гулко застучало сердце. Передо мной стояли враги! Требовалось что-

то сделать немедленно, но я застыл, оцепенел. Стрелять по ним без предупреждения? Я на это сразу не решился. Крикнуть «Хенде хох»? Вряд ли они поднимут так просто руки и сдадутся.

Тот, что был в шинели, вытащил из-под полы автомат. Дальше медлить было нельзя: враги могли напасть на сонных ребят. Я выпустил по направляющимся к дому немцам очередь и громко, чужим, диким голосом крикнул: «Стой!»

Двое упали. Один бросился к калитке, а одетый в шинель пригнулся и с колена выстрелил в мою сторону из автомата. Я мгновенно ответил новой очередью.

В это время распахнулась дверь, очевидно, открытая пинком, и на пороге появился кто-то из ребят. Я мельком глянул на него и с ужасом подумал, что, стоя в белой нижней рубашке, в нише темного проема открытой двери, он представляет собой неплохую мишень. И тотчас по доскам, чуть выше его головы, прошла густая автоматная очередь. Рубашка мгновенно исчезла в проеме. Теперь я потерял из виду стреляющего немца и стал опасаться, как бы неосторожно не выдать себя. В то же время меня охватил азарт — во что бы то ни стало как можно быстрее уничтожить врага.

В это время на улице послышался треск нескольких автоматов. Кто-то громко крикнул:

— Стой! Стрелять буду!

И вслед за этим часто забили винтовочные выстрелы. Я понял, что наши солдаты подошли мне на помощь. Не теряя ни минуты, держа наготове автомат, я выскочил за ворота и увидел, как по освещенному лунным светом снежному полю бежали двое. Один прихрамывал. Пробежав несколько метров, он опустился на колено и пустил по преследовавшим его солдатам автоматную очередь. Почти в то же мгновение ему ответили плотным огнем. Немец упал. Скоро и второй убегавший пошатнулся и рухнул в снег.

Мы обшарили сарай. Борис Гофман крикнул по-немецки, что если те, кто там скрывается, не выйдут сейчас же, то через две минуты сарай будет подожжен. Но никто не вышел. На всякий случай мы дали несколько очередей.

На мои выстрелы первым, оказывается, выбежал Вил. Сразу он ничего не понял. А когда над головой просвистели пули, он бросился за оружием и разбудил всех ребят. Испуганный хозяин клялся и божился, что понятия не имел о пришельцах. Он истово крестился, призывал в свидетели матку боску.

Какое-то время я был героем дня, но вскоре новые события захлестнули этот ночной случай.

Дул пронизывающий ветер, мела поземка. Ежились на морозе колонны пленных немцев. Возвращавшиеся на восток беженцы грелись у дорожных костров. К вечеру этого памятного дня мы подошли к сильно разбитому, сожженному селу. На доске, установленной у въезда, кто-то уже сделал надпись: «Вот она, проклятая Германия».

Мы остановились у доски. Очевидно, каждый, как и я, в эту минуту вспомнил дороги, оставшиеся позади, и подумал о том, что наконец-то пришел день, когда мы ступили на германскую землю. Каждый отчетливо понял, что конец войны уже близок.

Глубокой ночью остановились, наконец, в пустом холодном доме прусского бауэра, бежавшего на запад.

Виктор Саяпин, разыскивая бумагу для растопки печи, нашел пачку писем. Борис Гофман прочитал с переводом одно из них вслух. Судя по дате, письмо было недавнее. Сын бауэра сообщал о глухих белорусских лесах, о надоевших холодах. Заканчивал письмо он пожеланиями отцу, матери и сестрам доброго здоровья и откровенно намекал, что воевать стало неимоверно трудно. Хотелось бы ему дожить до конца войны. И ни слова о победе «великой» Германии.

Мы стали комментировать письмо. Выходило, что этот немецкий солдат уже не возлагал надежды на победу. Он просто ждал конца этой, теперь бессмысленной для него войны, боялся своей смерти и расплаты за содеянное. Теперь предстояло защищать свою страну, которая совершила самое грязное, гнусное в истории человечества преступление.

В одной из комнат сохранился портрет Гитлера в рамке из папье-маше, изготовленный, как видно, массовым тиражом. Такие портреты встречались по всей Германии. Но портрет не висел на стене, где от него остался на извести светлый квадрат, а стоял на полу, прислоненный к комоду. И в этом тоже угадывалось колебание бауэра: уничтожить портрет у него, видно, еще не хватило смелости, но и вера в Гитлера поколебалась.

Ясность в спор о сомнительной преданности всех немцев Гитлеру внес Копылов. Он сказал о том, что вера в Гитлера, конечно, давно поколебалась. Еще после поражения под Москвой, а потом под Сталинградом. Но есть фанатики, и их. наверное, не два и не три... Впереди будут суровые битвы. Чем ближе к Берлину, тем они будут ожесточеннее. Копылов тут же привел наглядный пример: почему бросил свой дом хозяин фольварка? Да потому, видать, что силой его угнали и что боится нас и все еще, наверное, верит

Гитлеру, но скоро окончательно поймет, как жестоко был одурачен, какой ценой обошлась эта авантюра для всей Германии, для всего народа.

На запад мы двигались ежедневно после небольших привалов. Проходили фольварки и небольшие города. Все чаще стали встречаться длинные вереницы местных жителей. Брели они на запад и на восток, на север и на юг, возвращаясь домой. Иногда шоферы брали их в машины. Мы прошли города Шепланке, Лукатц, Крей, Вальденберг. Встречались старинные, с крепостными башнями и воротами, города-крепости. Позади остались города Ландсберг, Мезеринц, Швибус, Цюллихау. Впереди была река Одер.

Промозглым ветреным днем подошли к понтонной переправе через бурную, по-весеннему полноводную реку. В лицо пахнуло терпкой свежестью большой воды. Мы сразу же попали под жестокую бомбежку. Мне показалось, что длилась она по меньшей мере час, хотя на самом деле фашистские самолеты сделали всего один заход и, как позднее выяснилось, из-за огня зениток сбросили бомбы беспорядочно, не причинив особого вреда переправе. В этой суматохе я потерял своих и, пристроившись к одной из колонн, перешел по понтонному мосту на противоположный берег.

Я встретил знакомого коновода командира дивизии Григория. Он вел на поводу прихрамывающего верхового каурого красавца-коня.

Мы зашли с Гришей в приземистый каменный дом перекусить, а коня привязали к дереву недалеко от дома. Только разрезали шпик и хлеб, как налетели немецкие самолеты. Я увидел, как один из них спикировал прямо на нас. Из дюралевого брюха бомбардировщика, кувырнувшись прямо в воздухе, отделились бомбы. Я свалил Гришу на пол, и в ту же секунду раздался грохот бомбового взрыва. Нас прижало к полу взрывной волной, засыпало штукатуркой и осколками стекла. Мне порезало руку, Грише шею. Бомбы разорвались совсем близко от дома. Взрывной волной сорвало крышу, выбило окно. Там, где был привязан к дереву конь, зияла воронка.

Гриша помрачнел, смахнул слезу и послал страшные проклятия фашистам.

Расстались мы с ним утром следующего дня. За придорожными кустами я услышал звуки похоронного марша. Наши ребята хоронили воинов, погибших при форсировании Одера. Я вынул из чехла тенор и встал в строй.

В третий раз нас бомбили за Кюстрином. На этот раз убило коня и разнесло повозку с фуражом и нотами. В тот же день все перешли работать в медсанбат, где пробыли до самого подхода к Берлину.

ВОТ ОН, БЕРЛИН!

Много раз представлял я день и час, когда войдем в этот город. Мысленно видел его зловеще-серым, безликим, с однообразием стандартных немецких «штрассе», где все под шнурок, под линейку, и даже деревья одинаковой высоты с кронами-близнецами.

А Берлин начинался с бесконечного хаоса пригородов, с обгорелых зданий складского и барачного типа, с многочисленных железнодорожных путей. Назывался этот район Панков.

Грохотала артиллерия. Буквально над самыми крышами носились тройками и парами «хейнкели» и «мессеры». В разных частях города рвались бомбы, снаряды крупного калибра, мины. А дальше, строго на запад,— логово Гитлера.

— Все, ребята!— сказал Костя Ковалев.— Вот он, Берлин! Все, братки! Дошли мы до него!

Костя был лихорадочно возбужден. Он обнял Николая Жарикова и троекратно поцеловал. Потом все мы обнимались, целовались.

— Выходит, вот-вот победа!— Костя от переполнившего его счастья и восторга не нашел больше слов и замысловато, но незлобиво ругнулся.

Да, настало это незабываемое время! Не бритые и не умывающиеся целую неделю, с воспаленными от недосыпания глазами, мы поняли в этот час, что окончательно переступили последний, может быть, один из самых решающих рубежей в войне. Я подумал, что для моих сверстников и не было совсем юности, будто прямо из детства, из отрочества шагнули мы, минуя прекрасную пору, в суровую зрелость, и стали теперь сами в какой-то мере частицей истории. Захватывало дух от того, что совсем рядом, впереди, может, вон за тем высоким обгорелым домом, вон за той кирхой уже Победа!

А фашистский Берлин доживал последние часы. Теперь в нем дрались, в основном, обреченные. Одураченные пареньки и древние деды из фольксштурма держали оборону за уличными баррикадами. Взятые в плен ребятишки из фольксштурма размазывали грязные слезы по щекам и просились домой.

Единственную уцелевшую повозку поставили во дворе дома, служившего раньше, судя по кабинетам, полным бумаг, какой-то канцелярией. Теперь дом занимала санчасть одного из наших полков. Всю ночь мы помогали санитарам.

Уныло смотрели в землю совсем старые или хромые, одноглазые фольксштурмовцы.

Над городскими громадами вполнеба вздымалось смрадное зарево пожарищ, над которым роились трассы пуль, снарядов и блекло расцвечивались ракетные сполохи.

Утром мы наконец разглядели Берлин. Трудно было составить впечатление о нем в сплошном хаосе звуков, грохоте канонады, в многообразии цветов — от аспидно-черных дымов пожарищ до белых простынь-флагов на балконах и окнах — знаков капитуляции. Мы видели освобожденных из неволи французов и югославов, поляков и наших, русских. Почти на каждом шагу были улыбки, счастливые слезы, рукопожатия, горячие объятия и поцелуи. Были встречи с земляками.

Постепенно, вначале, как правило, осторожно разведывая обстановку, стали появляться жители. Были они смертельно испуганы «ужасами неминуемой жестокой расправы над ними», о чем, оказывается, день и ночь твердил по радио Геббельс, призывая до последнего дыхания защищать Берлин.

На одной из улиц в центральной части города меня остановили вылезшие из подвала берлинцы — женщина с девочкой и одноногий пожилой инвалид. Я оказался для них первым русским солдатом, которого они увидели. Мобилизовав весь запас немецких слов, я стал втолковывать, что во всем виноваты фашисты.

— Гитлер капут?— спросил я напоследок.

— Капут!— дружно и даже, как мне показалось, с радостью подтвердили немцы, еще не зная, что в это время в своем бункере Гитлер действительно уже покончил с собой.

Инвалид попросил обменять на пачку сигарет зажигалку. Я отдал ему сигареты. Подошли Борис Гофман и Виктор Саяпин. Борис выслушал непривычно картавую для нас речь берлинцев и перевел ее. Оказывается, фрау интересовало: как поступят русские с семьями военнослужащих — Сибирь или еще что-то? Борис ответил, что если бы русские поступали так, как об этом говорил Геббельс, то, как ни велика Сибирь, а места в ней всем не хватило бы. Ведь Гитлер поставил под ружье всю Германию, многие страны Европы. Нет, никто не собирается посылать немцев в Сибирь.

Берлинцы внимательно слушали, изредка вставляя «гут» и «зер гут».

Короткий и толковый ответ Бориса понравился берлинцам, которые, как это было видно по ним, чертовски

устали от войны и, очевидно, давно потеряли веру в своего фюрера, принесшего Германии столько горя и слез.

— Что же будет с немцами, с Германией?— спросил инвалид.— Как будем жить дальше? Теперь ведь, можно считать, Германии нет?

— Скажи ему, что дальше будет полный порядок,— вставил Виктор Саяпин.— Мы не людоеды, как ихний Гитлер, и вовсе не нужна нам чужая земля — своей хватает.

Борис сказал немцам что-то такое, отчего они оживились.

— Объяснил,— сказал Борис,— что обижать женщин и стариков никто не собирается. Красная Армия принесла всем немцам мир. Ну, а кто виноват, тот, конечно, ответит.

Вскоре прямо на улицах, у неубранных баррикад, на площадях потянулись очереди жителей к армейским кухням. Повара с шутками и прибаутками разливали берлинцам вкусный суп, накладывали кашу.

Около одной очереди меня потянула за рукав женщина. Она была взволнована и показывала на окно большого дома напротив, приглашая туда. В просторной, богато убранной квартире на третьем этаже я увидел целую семью немцев — мужа, жену и троих ребятишек, перерезавших себе вены. Они были еще живы — с закрытыми глазами, с лицами цвета слоновой кости, истекая кровью, тихонько стонали. Я выбежал на улицу и вскоре привел к умирающим фельдшера и санитаров. Спасли женщину и старшего мальчика.

А в Берлине гремела канонада, горели дома и целые кварталы. Черный дым во всех частях города поднимался в пасмурное небо.

Утром Первого мая мы помылись в медсанбатской бане, побрились, переоделись в новое, хранившееся для особо торжественных случаев, обмундирование и вышли на улицу. Заиграли на одном из перекрестков.

Был первомайский праздник. Война еще не окончилась, хотя никто не сомневался в том, что победа близка. Все хорошо понимали, что сейчас за громадами берлинских домов дерутся самые обреченные. Постепенно грохот боя стал стихать.

Мы играли «Марш танкистов». После первых же тактов распахнулись окна домов, и среди белых простыней и тряпок, вывешенных в знак капитуляции, на балконах появились любопытные. Слушали молча. Первыми осмелели молодые люди. Они начали сначала робко махать нам, улыбаться. И вот уже спустились вниз, встали неподалеку от оркестра.

В перерывах между маршами немолодой старшина обратился к немцу:

— Что, Ганс, капут Гитлеру? В самый рейхстаг войдем. И все — крышка! Понял?

Немец не понял ни слова, но радостно и согласно закивал головой, не забыв прибавить фразу, повторявшуюся в те дни особенно часто:

— Гитлер капут, криг капут.

Во второй половине дня мы хоронили солдат и офицеров, погибших в уличных боях. В небольшом сквере у братской могилы прозвучал прощальный салют, и потекла густая мелодия печального марша.

Нет, Первомай сорок пятого не получился таким, каким мы представляли его — с победным маршем по главным улицам впереди полков, осененных гвардейскими знаменами. Много было еще крови и горя на его улицах.

В эти дни, особенно горячие дни — последние перед победой,— мы работали в медсанбате. Почти ежедневно участвовали в оцеплении отдельных домов, где прятались вооруженные фашисты, собирали трофейное оружие, помогали разбирать на улицах баррикады, мешавшие движению. Работали, не чувствуя усталости, хотя спали от силы по четыре-пять часов в сутки. Праздник Победы встретили в берлинском районе Райикендорф. В полках проходили митинги, о приказе Верховного Главнокомандования еще не знал никто из нас.

Но вот из армейских громкоговорителей, установленных на улицах, прозвучал голос Левитана из нашей милой, далекой Москвы. И что тут началось! Взлетали ракеты, гремели казавшиеся ошалело радостными выстрелы. Все подряд обнимались и целовались друг с другом по-русскому обычаю, поздравляя с победой. А чуть позднее, как высшее выражение этого восторженного счастья, раздались песни. Душа потребовала музыки. Мы играли, почти не отрывая мундштуков от губ. Вот когда мы стали самыми желанными. Везде нужна была музыка. А мимо этой сверкающей боевыми наградами, поющей массы солдат и офицеров понуро тянулись колонны разбитого берлинского гарнизона.

На одной из улиц, выходящей на Александерплац, на нас высыпала толпа русских, работавших на каком-то заводе. Все в одинаковой робе, коротко острижены, с синюшными лицами, они обнимали и целовали нас, не скрывая счастливых слез. Какая-то женщина сняла с головы Виктора Саяпина пилотку и несколько раз поцеловала на ней мали-

новую звездочку, потом обняла Жарикова и мелко, судорожно затряслась в рыданиях.

А мы все играли в разных частях города, куда нас перевозили на полуторке из политотдела дивизии.

Только к вечеру приехали в штаб дивизии. В просторном зале особняка за длинным столом собралось командование. Поднимались тосты за победу, за доблестного советского солдата, за мир. И гремел оркестр, сопровождая тосты. Потом нас усадили за стол, налили вина.

Возвращались в расположение медсанбата глубокой ночью, под непрерывные залпы салютов, всплески ракет. Несмотря на то, что играли почти двенадцать часов, никто не чувствовал усталости — так велико было ликование этого незабываемого дня.

Перед отбоем Копылов собрал нас вместе и, волнуясь, сказал:

— Друзья мои, дорогие мои товарищи! Вместе мы дошли до Берлина и вместе встретили победу. Скоро многие из нас разъедутся. Хочется напоследок пожелать каждому счастья в мирной жизни. Завтра мы едем в штаб группы оккупационных войск, в состав сводного оркестра. Наша служба в дивизии сегодня закончилась.

Новость было неожиданной и ошеломила нас. Как же так: прослужить в родной дивизии всю войну, пройти такой огромный путь и теперь вдруг уезжать куда-то? Мы буквально засыпали вопросами капельмейстера.

Копылов сказал, что так нужно, что ничего в этом особенного нет. Надо полагать, что это временный приказ. Скорее всего, репетиция для Парада Победы, который вот-вот состоится в Москве.

— А теперь — отбой!— И добавил непривычно, по-граждански:— Спокойной ночи, пусть каждый сегодня смотрит самые мирные сны.

Они действительно пришли в ту первую ночь мира, эти сны. Только у родного дома, у самого крылечка притаился фашист с автоматом. Он целился мне в сердце и почему-то не мог выстрелить — наверное, узнал, что Берлин пал. Я видел могучий Иртыш, летнее небо — все в кучевых облаках. А на их фоне кружил одинокий «хейнкель».

Проснулись на рассвете от сильного грохота. Поспешно оделись, выбежали на улицу, ожидая нового взрыва.

Вскоре мы узнали, что в подвале соседнего дома взорвался целый склад боеприпасов, оставленный фашистами и затем, очевидно, подорванный самими же. Наполовину разрушенный дом загорелся. Из соседних домов выбегали

полураздетые жители. Вместе с ними до самого утра тушили пожар, вытаскивали из руин раненых и убитых.

Один из жителей — пожилой, взлохмаченный — сказал по-русски:

— Будь ты проклят, самый грязный и злой зверь,— и плюнул.

Все мы поняли, кому адресовал он свое проклятие. Перед рассветом к Копылову подошли двое немцев и рассказали, что неподалеку, в подвале одного из домов, находится много людей, гражданских. Они боятся русских, не решаются выйти из-за железной двери. Трудно сказать, живы они сейчас или нет, так как спрятались туда еще в начале штурма Берлина русскими.

Это был многоэтажный дом с несколькими подъездами. Немцы завели нас в один из них. Ступеньки вели в глубокий подвал, дохнувший на нас холодным смрадным воздухом. Кто-то зажег электрический фонарик, осветивший железную массивную дверь с облупившейся краской, сквозь которую проступали коричневые пятна ржавчины, похожие на засохшую кровь. Вил постучал в дверь и прижался к ней ухом.

— Вроде никого нет,— сказал он.— А может, затаились вооруженные солдаты. Ведь взорвал же кто-то сегодня боеприпасы в подвале. Не могли они сами рвануть ни с того, ни с сего.

Постучали еще раз. В ответ — молчание. Борис Гофман спросил сопровождавших немцев: не ошиблись ли они дверью? Те показали на меловую отметку в верхней части, сделанную ими для приметы после того, как некоторые соседи панически бежали в этот бетонный панцирь, спасаясь от расправы большевистских комиссаров.

Мы поинтересовались: может быть, в подвале те, кто боится справедливого суда за преступления, кому так и так в петлю? Немцы заволновались, ответили, что там мирные люди — женщины, дети и старики, инвалиды, которых не взяли в фольксштурм.

— Наверное, придется выламывать дверь,— сказал Костя Ковалев.— Думаю, лучше подложить пару гранат, а еще лучше — мину. И дом останется цел, и дверь откроется. Беру это на себя.

Копылов колебался, о чем-то раздумывал. Наконец спросил немцев, откуда в подвал поступает воздух. Стали сообща искать отдушину и вскоре обнаружили ее снаружи дома в фундаменте. В эту отдушину один из немцев стал кричать о том, что русские предлагают выйти из подвала и

никому не причинят вреда, что Берлин пал, войне конец. И вот дверь с отвратительным визгом открылась. В чуть освещенном стеариновыми свечами и плошками подвальном помещении находилось около ста человек. Несколько стариков вытолкнули в коридор связанных двух мужчин и стали горячо объяснять, что они не разрешали открывать дверь, уговаривали лучше всем погибнуть своей смертью, чем отдаться на мученья русским. В конце концов эти двое стали угрожать оружием, повторяя то же самое, о чем твердили берлинское радио и газетные статьи. В подвале стало трудно дышать от недостатка воздуха, от запаха испражнений, стали невыносимы плач женщин и детей, жажда и голод. И люди, услышав голос через отдушину, связали обоих и открыли дверь.

Умерли в подвале трое, несколько человек были в обморочном состоянии. Мы показали добровольным пленникам путь к кухне, а связанных сдали в комендатуру вместе с двумя парабеллумами, обнаруженными у них в карманах.

Мы хорошо отоспались и после обеда сдали в хозяйственный взвод лошадей, повозку, многие ставшие теперь ненужными вещи: котел, запасную сбрую, мешки, ведра. Потом вышли в сквер недалеко от нашего дома и на прощание с родной дивизией дали концерт. Играли марши, многие из которых теперь, в мирное время, стали, как и солдаты, отставными, ушедшими в запас. Было грустно и радостно. Грустно от того, что прощались с друзьями, товарищами, которые делили с нами все тяготы и невзгоды фронтовой жизни. И радовала победа. Радовало и, вместе с тем, волновало неизвестное, что завтра будем играть в другом, незнакомом, оркестре, что капельмейстер уходит от нас, может быть, навсегда.

* * *

С тех пор минуло много лет. Многое позабылось. В памяти от времени выцвели краски, забылись многие лица.

Но вот что удивительно. Всякий раз, когда я слушаю военный оркестр, который играет «На сопках Маньчжурии» или вальс «В лесу прифронтовом», «Марш танкистов» или «Все выше», снова вижу молодых ребят, погоны которых украшает маленькая бронзовая лира, вспоминаю свою юность, одетую в солдатскую шинель. Прошлое обжигает мою память.

Где вы сегодня, мои фронтовые друзья-музыканты?

Как сложилась ваша судьба? Исполнились ли ваши мечты? В мыслях я нет-нет да и встречаюсь с фронтовыми друзьями в цветущем вишневом саду на берегу Днестра, где звучат мелодии огненной «Молдованески», сменяясь вальсами бессмертного Штрауса, или в Берлине, на площадях, в парках, где гремели наши советские победные марши.

Улыбаясь, Саяпин удивленно, первый раз в жизни рассматривает цветущие ветки абрикоса. О чем-то мечтает в уединении Борис Гофман. Как всегда, шутит Ковалев.

Чаще и чаще вспоминается та далекая весна, пахнувшая Победой!

О чем бы мы говорили, встретившись сегодня вместе? Конечно же, о войне, о том, что пережили на казавшихся бесконечными фронтовых проселках и большаках. О грустном и смешном, о том, как изменились, кем стали. И конечно, о том, что с честью прошли огонь пожарищ, воду переправ. И что верно служили нам медные трубы.

СОДЕРЖАНИЕ

Художественная литература

Для старшего школьного возраста

Игорь Андреевич Колеев

...И МЕДНЫЕ ТРУБЫ

повести

Редакторы *А. Загородний, Ю. Тарасов*
Художественный редактор *С. Макаренко*
Художник *Е. Писарова*
Технический редактор *Р. Винокурова*
Корректор *Р. Соболева*

ИБ № 4318

Сдано в набор 10.10.89. Подписано в печать 25.04.90. УГ 17088. Формат $84\times108^1/_{32}$. Бумага тип № 2. Гарнитура «Тип Таймс». Печать высокая. Усл. п. л. 11,34. Усл. кр.-отт. 11,55. Уч.-изд. л. 12,21. Тираж 50.000 экз. Заказ 2391 Цена 55 коп.

Издательство «Жалын» Государственного комитета Казахской ССР по печати, 480124, г. Алма-Ата, пр. Абая, 143.

Полиграфкомбинат производственного объединения полиграфических предприятий «Кітап» Государственного комитета Казахской ССР по печати, 480002, г. Алма-Ата, ул. Пастера, 41.

55 к.

Война бывает разная.
Молодое поколение читателей
больше знает ее с парадной стороны.
Так принято было у нас
писать четыре десятилетия подряд,
и не только о войне...
В повестях Игоря Колеева,
знающего о войне не понаслышке,
очевидца и участника ее,—
непривычная еще, незнакомая,
порой без единого выстрела,
горькая и ужасная
в своей «простоте» война.



жалын

